

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ И РОМАН



ЕВГЕНИЙ ГРЕБЕНКА
Чайковский

«МОЛОДЬ»

Евгений Павлович Гребенка

Чайковский

Роман «Чайковский» (1843), вызвавший похвалу В. Белинского, повествует о старой Малороссии времен гетманщины. Основываясь на народных песнях и преданиях, не останавливаясь перед неприглядными сторонами исторической правды, используя мелодраматические сюжетные линии, автор изобразил суровую жизнь казачьего «лыцарства» Запорожской Сечи.

Роман создан на основе семейных преданий (мать писателя происходила из рода Чайковских) и эпизодов из украинской думы об Алексее Поповиче.

Содержание

#1	0006
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	0007
I	0007
II	0017
III	0027
IV	0034
V	0041
VI	0050
VII	0070
VIII	0077
IX	0083
X	0089
XI	0099
XII	0105
XIII	0116
XIV	0127
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	0142
I	0142
II	0154
III	0164
IV	0179
V	0199
VI	0225
VII	0234
VIII	0245

IX.....	.0264
ЭПИЛОГ.....	.0272

Евгений Гребенка
ЧАЙКОВСКИЙ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Знаете ли вы Пирятин? — Пирятин, при реке Удае, уездный город Полтавской губернии, под 50°4' 32" широты; в нем 5700 жителей, 5 церквей, 28 ветряных мельниц и 4 ярмарки; на оные приезжают купцы с красным товаром из соседственных городов, а с Дону привозят рыбу, — говорит, с печатного, школьник.

— Пирятин знаменит преданностью к престолу, — говорит грамотный малоросс. — Когда в 1708 году Мазепа передался Карлу XII, пирятинцы, под начальством храбрых Свечек, отразили неприятеля и, несмотря на то, что Лохвица, Лубны, Прилуки и все окрестные города были заняты шведами и не далее ста верст, в Ромнах, была главная квартира Карла, — ни один швед, ни изменник не был в стенах Пирятина.

— Пирятин — прескверный городишко! — сердито восклицает кто-то, случайно проез-

жавший этот город по тракту из Петербурга на Кавказ. — В Пирятине всего одна каменная церковь, с деревянными пристройками без всякой симметрии; улицы широкие, пустые, грязные; один каменный дом — почтовая контора, а прочие совестно назвать домами; на станции жиды и пол со скрипом, как сапоги франта двадцатых годов; нет порядочного трактира!.. В тамошнем лафите плавают сандал изумительными кусками, почти бревнами; на бильярде сидит курица...

Согласен, согласен со всеми вами, даже с господином проезжающим, но знаете ли вы, что несколько сот лет назад Пирятин был красивый, сильный, богатый сотенный город в нашем гетманстве? Широко и далеко раскидывался он по скату горы над Удаем, часто сверкали кресты церквей между его темными, зелеными садами, шумны были его базары; на них громко гремели вольные речи, бряцали сабли и пестрели казацкие шапки и жупаны; польские купцы привозили туда тонкие сукна и бархат; нежинский грек выхвалял свои восточные товары: то сверкал на солнце острием кинжала, то поворачивал

длинную винтовку, окованную серебром, между тем, в стороне заливалась скрипка, звенели цимбалы, и захожий запорожец выплясывал вприсядку отчаянный танец, подымая вокруг облако пыли; порою, как пламя, вырезывалась из пыли его красная куртка, порою выглядывало дьявольски страшное лицо с поднятыми кверху усами, с черным чубом, веявшим на бритой голове, и опять все исчезало в вихре танца... Народ хлопал; громкий хохот далеко раздавался по базару... Было весело!..

Даже сам Удай, говорит предание, был прежде шире, глубже и многоводнее, на месте, плавней и болот, на которых теперь уездные канцеляристы изволят стрелять куликов и водяных курочек, тогда шумели и бежали быстрые волны; Удай, говорят, так был тогда широк летом, как теперь вескою во время половодья — а во время половодья красив старик Удай! Он воскресает вместе с природой, молодеет и кипит и хлещет волнами о берег, как разгульный казак, — в этом со мною согласится каждый пирятинец.

Быль, которую я вам расскажу, случилась

В Пирятине — не то двести, не то триста лет назад. Город был на правом берегу Удая под горою; на горе тянулись длиною цепью ветряные мельницы и виднелись два небольшие земляные укрепления, там день и ночь стояли сторожевые казаки; в центре города, у самого берега реки, был замок — крепость, обведенная высокими валами; на валу стояли пушки, всегда готовые встретить незваных гостей, в крепости хранились военные снаряды и была церковь, в которой лежал войсковой скарб и казна; во время набегов сносили туда жители свои драгоценности.

На противоположном берегу Удая, в дубовой роще, стоял белый каменный дом, состроенный на польский манер; дом принадлежал лубенскому полковнику Ивану. Предание не говорит фамилии полковника, а называет просто Иваном: и мы будем называть его Иваном. Несмотря на то, что Пирятин был сотенный город, полковник Иван очень любил его и часто, оставляя свои Лубны, проводил лето в пирятинском загородном доме с молоденькой дочерью Мариной.

В одну весну полковник приехал в Пиря-

тин на печальную церемонию, на похороны замковского протоиерея, отца Иакова. Все казачки любили почтенного покойного старика: не раз он являлся среди них с крестом в руках на стены замка и под стрелами крымцев и пулями поляков словами веры ободрял воинов, перевязывал раненых, исцелял умирающих... Все плакали по отцу Иакове и просили полковника назначить в Пирятин священником, на место покойного, сына его Алексея.

Сын отца Иакова учился в Киеве. Послали за ним гонца — и вот приехал в Пирятин Алексей-попович, красавец юноша лет двадцати.

— А! — говорит догадливый читатель, — красавец юноша и молоденькая дочка полковника — стоит их влюбить друг в друга и состроится роман. — Я не выдумываю романа, ничего не строю, а рассказываю быль, как сам слышал; но если вы догадались, спорить не стану. Точно, Алексей и дочь полковника Марина полюбили друг друга страстно, как любят в их лета, пылко, как люди, выросшие под строгою ферулой и готовые предаться всею полнотою души первому стремлению серд-

ца... Чем вы крепче сожмете порох, тем сильнее будет взрыв: вспомните, что они любили первую любовь, и позавидуйте им!

Многие почтенные люди при слове «любовь» делают удивительную гримасу, будто попробуют ревеню или услышат про чуму или холеру. Для меня это непонятно. Уж не из зависти ли это, господа почтенные люди? Зачем скрывать, унижать, стыдиться самого лучшего, высокого чувства? Хотел бы я знать, что способнее облагородить, побудить человека к самым великодушным, бескорыстным поступкам, как не любовь? А многие ставят ее в одну категорию с белой горячкой; многие не посовестятся кричать в обществе, что любят пуделя, ружье, лошадь, мороженое, и никак не признаются в любви к подобному себе человеку другого пола.

Не наша ли испорченность этому причиной?

Некоторые считают преступлением даже взгляд, брошенный на женщину, исполненный тихого, благоговейного чувства удивления красоте ее!..

Что бы вы подумали об обществе, в кото-

ром каждый боится посмотреть на часы или шляпу своего приятеля, чтоб не сказали другие: берегитесь, он хочет украсть ваши часы, вашу шляпу?..

Время шло, а попovich Алексей и не думал о посвящении, мысли его были далеко от строгого сана: душа носилась в чудном море мечтаний любви, другой мысли, другому чувству не было места: везде она, волшебница, с своими обаятельными чарами, с томительными тревогами и светлыми надеждами... Иногда, бывало, сидит Алексей в саду под черемухой и читает Цицерона: напрасно воображение хочет перенестись на многолюдный римский форум, где так грозно, так самонадеянно говорит великий оратор. Кругом тепло, свежо, столько неги в весеннем воздухе; черемуха тихо помавает белыми кистями своих душистых цветов; тысячи пчел и других насекомых садятся, перелетают, жужжат между цветами; за садом плещутся и ропщут тихие струи Удая, и речной тростник нашептывает приятную, успокоительную думу. Чудный аккорд великой музыки природы! Тихо клонилась книга из рук молодого студента, и на ве-

ликолепное, громовое начало речи Цицерона за XII таблиц. Fremant omnes licet, dicam quod sensio! (Пусть все дрожат, я скажу, что чувствую!), он едва слышно отвечал: amor!.. и вслед за этим словом мечта его бросала шумный Рим и неслась к Марине. И вот оно, чудно хорошая, явилась спокойною, опустив длинные ресницы; сладостное, невыразимое чувство благоговения обвеваает робкого юношу: целый бы век смотрел на нее!.. Но вот она улыбнулась, открыла очи — будто небо раздвинулось пред Алексеем. Как от солнца, из огненных очей падали ему на сердце лучи жизни и восторга... Чудное видение!.. Вдруг оно скрылось; что-то легонько тронуло по лицу Алексея... Глядит: он весь осыпан цветами; гвоздики, левкой, чернобривцы катятся с него на землю; старика Цицерона прикрыла махровая пунцовая маковка; в стороне слышен тихий смех: из-за плетневого забора лукаво глядит черноокая, чернокудрая головка молодой цыганочки, служанки Марины, кланяется и исчезает, звонко напевая известную песню.

Барвіночку зелененький,

*Стелися низенько,
А ти, милий, чорнобривий,
Присунься близенько!*

Почти каждый вечер, когда затихал шум в окрестностях Пирятина и светлый месяц, выходя на темно-синее небо, гляделся в Удай, тихо проплывала лодочка у самого берега перед домом полковника и кто-то пел на ней песни; голос певца, томный, страстный, звучал, переливался, будил дальнее эхо и исчезал постепенно, замирая в отдалении.

— Недурно поет человек! — скажет, бывало, полковник, покуривая на крыльце трубку.

— Так себе! — отвечает Марина, вспыхнув до ушей, а между тем, прислонясь к резной колонке крыльца, жадно слушает знакомые звуки; слезы восторга сверкают в глазах ее, и она завидует месяцу, который с высоты может глядеть на певца и ласкать его своими лучами. «Почему я не звездочка, — думала Марина, если падучая звездочка катилась в то время по небу, — я бы слетела к нему с высоты, горя и сверкая любовью; я бы рассыпалась перед ним яркими искрами и осветила путь моему казаку ненаглядному; его очи за-

светились бы моим огнем — и умереть было бы весело...»

— Распелись пирятинцы нынешнюю весну; всех песен не переслушаешь; пора спать! — говорит, бывало, полковник.

Марина шла в свою светлицу, отворяла окно. Вдалеке чуть слышно отдавались звуки песни; с последними отголосками ее сливалась жаркая молитва бедной девушки об Алексее; песни смолкали — но долго еще Марина стояла на коленях перед образом богородицы, украшенным цветочными венками, и молилась, и плакала, сама не зная о чем.

Судя по теперешним образованным, милым, снисходительным полковникам, нельзя составить себе даже приблизительного понятия о полковнике малороссийском времен гетманщины. В нем сосредоточивалась власть военная и гражданская целой области; он был и военачальник, и судья, и правитель; он безгранично, безответственно распоряжался в своем полку. Правда, право жизни и смерти было законом предоставлено гетману; но нередко полковники нарушали это право и даже казнили самовольно преступников. Кто смел жаловаться на полковника? Одетые в серебро и золото, украшенные клейнодами, знаками своей власти, окруженные многочисленною вооруженною свитой, с азиатской пышностью являлись они перед народом — и города и села преклонялись, уважая их военные доблести и трепеща перед их властью. В народе воинственном, полудиком иначе и быть не могло.

Не так давно один какой-то князь получил после отца, вельможи екатерининских

времен, наследство в отдаленной провинции и приехал туда жить. Мне случилось — проездом через эту провинцию, быть в обществе помещиков, соседей князя, и я спросил у них, довольны ли они новым соседом?

— Ничего, — отвечал один, — да если б вы видели, что это за человек маленький, невзрачный; у нас в полку последний с левого фланга был казистей; словно писарь какой; совестно назвать: ваше сиятельство!

— Никакой важности, — сказал другой, — я было явился к нему, этак, знаете, с почтением, и дворянский мундир сдуру натянул и медальку дворянскую повесил; думаю: вот тут-то явится в орденах, в лентах и говорить еще, чего доброго, со мной не захочет. Самому смешно, как вспомню! Вышел он, милостивые государи, ко мне, да и не вышел, а убежал — глазам не верю: в сереньком сюртучишке, молодой мальчик, «рад, говорит, что имею честь познакомиться», и садит на диван, и руку жмет, будто проситель какой; верите, мне за него было совестно... Нет уж, думаю, вперед не подденешь; коли случится, и сам явлюсь в сюртуке, охота была мундир на-

девать... ей-богу!..

— Да стоит ли об нем говорить! — перебил третий. — Человек он без всякой политики, ездит по полям да сам смотрит на работы, с утра до ночи разговаривает с мужиками, как простой человек. Княжеское ли это дело?.. Видно, в Петербурге был последняя спица в колеснице, житья не было, так и приехал сюда. Дает же бог таким людям и богатство, и высокие степени!..

И много еще подобных речей говорили о молодом князе, человеке с прекрасною душой и отличным европейским образованием.

Согласитесь после этого, что суровость, важность и недоступность малороссийского полковника XVI века были разумною необходимостью.

Пышны, грозны, суровы были полковники, но грознее и суровее всех между ними был полковник лубенский Иван. В молодости он славился между казаками упрямством характера и бешеною отвагою в сражениях, что тогда почиталось величайшею добродетелью и впоследствии доставило ему полковничье достоинство. Покойную жену свою он любил,

и даже очень любил, но, считая неприличным доброму казаку показывать как-нибудь чувство, особенно к женщине, он обходился с нею сурово, деспотически. «Баба — дрянь! — часто говаривал полковник. — Ни силы, ни характера! Будь на свете одни бабы, давно бы их всех перебили татары. На что был гетман Сагайдачный, добрая голова! А променял жёну на трубку с табаком, да ещё сложил песню:

*Мені з жінкою не возиться,
А тютюн та люлька
Козаку в дорозі
Знадобиться!..»*

В крымском походе полковник Иван заболел лихорадкою. Ему не советовали есть рыбы, оттого что лихорадка не любит рыбы. «Вот хорошо! — говорил полковник. — Стану я уважать бабьи капризы! Лихорадка — баба, а я, благодаря богу, казак». И три года жестокая лихорадка колотила полковника, и три года постоянно он ел рыбу и раки, говоря: «Посмотрим, чья возьмет». И точно: к удивлению всего полка, на четвертый год лихорадка оставила упрямого больного.

Не удивительно, что покойная полковни-

ца, несмотря на богатые парчовые одежды, собольи кораблики и алмазные ожерелья, которыми щедро дарил ее муж, все скучала, грустила, сохла и в молодости умерла, оставя маленькую дочь Марину.

Умирая, она горько плакала и просила мужа любить и тише обходиться с дочерью... «Ты никогда ни в чем не верил мне, — говорила она. — Мою болезнь ты называл капризами, мои горячие слезы водою, из которой никакой немец не выгонит ни капли водки... Ты смеялся над моей слабостью, и — вот я умираю, рано умираю, оставляю дочь сиротою, все через тебя. Да простит тебя бог! Ты делал свое дело, ты был мой начальник по закону божию; не твоя вина, что ты не понимал меня. Не доведи ж до этого дочери; будь ей отцом и матерью, слышишь, Иван?.. Слаба женщина: часто один взгляд убивает ее...»

Полковник был растроган; уже очистительная слеза раскаяния навернулась было на глазах его; но, вспомнив, что он казак, полковник пересилил себя, проглотил непрошеную гостью, вздохнул — и на похоронах жены жестоко напился пьян.

Со смерти жены полковник сделался еще угрюмее: тайная задумчивость примешалась в его характер; он запивал внутреннее беспокойство вином и почти каждый день к вечеру бывал в таком состоянии, что будто сейчас вернулся с похорон покойницы жены. По утрам он часто ласкал Марину, но, приходя в хмель, тотчас удалял ее, говоря: «Ступай себе, дочка, в свою светлицу; у меня пойдут свои, казацкие дела: не пристало тебе их слушать; ты такая, как твоя... царство ей небесное! Убейся же; не бойсь, не расплачусь!..»

Полковник посылал за кобзарем, и пил, и слушал его песни, и бросал ему мелкие деньги, если песня приходилась по нраву, или щелкал пальцем по лбу, приговаривая: «Врешь, божий человек, не так! Ты пьян и не выспался!..»

А иногда он потешался с Герциком.

Герцик был у полковника что-то вроде шу-та и приятеля, его биография немногосложна. Когда-то казаки разграбили и выжгли какое-то польское местечко. Что могло гореть — сгорело, что могло убежать — разбежалось. Полковник Иван раскурил головнею из пожа-

ра трубку, сел на бочонок и начал судить пленников. Привели мальчика лет шестнадцати, с быстрыми серыми глазами и плотно выстриженной головой.

— Ты жид? — спросил полковник.

— Нет, я немец, — отвечал мальчик.

— Врешь! Ты говоришь как жид, смотришь как жид, а голову выстриг, чтоб обмануть меня. Хлопцы! Допросить его, пока не признается, что он жид, — да и повесить

— Ей-богу, я немец, заезжий немец; я не воевал с вами, я люблю вас.

— Спасибо за любовь. Так повесьте его, не допрашивая.

Мальчик упал в ноги полковнику, умолял о пощаде, обещал служить ему верно до гроба и объявил, что он знает всякие науки, даже делает часы.

— Посмотрим, — сказал полковник, вынимая из кармана часы в виде большого яйца, — вот эта штука третьего дня стала — и ни с места; я и встряхивал ее, и дул всередку — ничего не помогает, а штука дорогая, ваша, немецкая. Коли поправишь сейчас — жить тебе на свете, а не поправишь — не сердись... Начи-

най!

Мальчик, дрожа от страха, присел на землю и с ужасом открыл часы. Но чем более рассматривал их внутренность, тем становился спокойнее. Полковник не успел осудить десятка пленных, как немец, улыбаясь, подал ему часы.

— Хорошо, — сказал полковник, с удовольствием прислушиваясь к звонкому ходу маятника, — хорошо! А как зовут тебя?

— Герцик.

— Хлопцы, дайте Герцику кафтан и шапку; он поедет с нами.

С тех пор Герцик остался при особе полковника, увеселял его разными штуками, делал транспаранты, шутихи и огненные колеса, а главное — строил удивительные часы. Во всем лубенском полку была известна так называемая ходячая картина; на картине была изображена мельница, настоящая ветряная мельница, в каких православные мелют муку, только эта не молола муки, а перемеливала старых баб на молодых. Истинно!. День и ночь шевелились на этой мельнице бумажные крылья, и в одну дверь входили ста-

рые-престарые бабы, скверные-прескверные, любая — лекарство от лихорадки; а в другие выходили из мельницы молодые молодички и девушки свежие, красненькие, чернобровые, полногрудые, с такими ямочками на щеках, что расцеловать хочется... Как жаль, что теперь перемерли уже люди, видевшие эту ходячую картину: они бы рассказали про нее лучше меня!

Да еще был у полковника Ивана верный слуга Гадюка, вечно без шапки, босый, нечесаный, с невымытыми руками, с нечеловечьими ногтями на руках. На войне он всегда был за полковником с огромною палицей на плече и с фляжкой в руках, в мирное время спал, как животное, свернувшись в клубок на полу у порога полковничьей спальни, и готовил полковнику кушать.

Про силу Гадюки до сих пор ходят предания между простолюдинами в Пирятине. Один только Гадюка мог безнаказанно говорить полковнику горькие истины, противоречил ему и даже грубил, как равному. Как-то полковник напомнил ему, что он слуга, и заставил его молчать. Гадюка потупил голову,

сверкнул исподлобья глазами и замолчал; но ночью пошел на мельницу, снял огромный жерновый камень, принес его и завалил дверь полковничьей спальни. Поутру полковник хотел выйти — нельзя, не пускает камень.

— Это твои штуки? — спросил из-за двери полковник.

— Мои, — хладнокровно отвечал Гадюка.

— Отвали камень.

— Ты, пан, старше меня, сильнее меня: тебе это легче сделать.

— Да я не могу.

— А мне не хочется. — И сказав это, Гадюка вышел из комнаты. Позвали человек десять казаков, и насилу они отодвинули от двери камень. Полковник, вышед, посмотрел на камень, покачал головой, улыбнулся и, позвав Гадюку, дал ему большой стакан водки.

III

— Гадюко! А Гадюко! Гадюко!..
— Чего, пане полковник?

— Чего? Что ты не откликаешься? Уши заложило, что ли?

— Разве заложит от твоего крику. Что там нужно?

— А что делается на дворе?

— То, что и делалось.

— Хорошо. Дождя нету?

— Откуда ему взяться?

— Не говори так; люди скажут: дурень Гадюка! Дождю есть откуда взяться, с неба возьметса, коли захочет.

— Разве коли бог даст; а дождь — что за вольница!..

— Правда, коли бог даст, ты правду сказал.

— Коли б я сказал по-твоему, люди сказали бы: дурень Гадюка!..

— Может, и так. А долго я спал?

— Почти полдня; лег зараз после обеда, а теперь уже вечер недалеко.

— Ото! Пора полдничать! Вари полдник.

— Вари полдник! Проспал человек пол-

дник, да и хочет полдничать; теперь скоро ужинать пора! — ворчал Гадюка, выходя из панской спальни.

— Жаль! — говорил сам себе полковник. — Разве ужинать придется попозже? Пропал день; всему виноват сотник...

Полковник очень любил здоровый борщ с рыбою. Для нас, привыкших к легким кушаньям французской кухни, здоровый борщ покажется мифом, как Гостомысл, или голова Медузы древних; многие не поверят существованию здорового борща; но и теперь еще есть старики, которые помнят это кушанье, бывшее лакомством, утехою отчаянных гуляк-гастрономов, хваставших своею железною натурой. Этот борщ начал готовить Гадюка для полдника, тут же, в спальне полковника.

Он взял живого коропа (карпа) и без помощи ножа, собственными ногтями очистил его и снял шелуху, к неопisanному удовольствию полковника, который, глядя на эту операцию, несколько раз повторял: «Славно, Гадюка! Как волк управляетя! Добрые ногти! Так его! По-походному...» Очистив коропа, Га-

Гадюка положил его в медную нелуженную кастрюлю, влил туда бутылку крепкого уксуса, прибавил горсть крупного перца, соли, несколько луковиц и накрыл кастрюлю плотно крышкою, потом принес канфорку, изделие хитрого немца Герцика, зажег спирт и поставил на него кастрюлю. Пока это снадобье шипело, кипело и варилось на столе перед глазами полковника, Гадюка стал молча у двери.

— Чудесный будет борщ! — сказал полковник, обоняя по временам пар, вылетающий тонкою струёй из-под крышки.

— Лучшего сварить не сумеем.

— И не нужно!.. Довольно ли там соли?

— А тебе, пане, хочется соленого после утренней попойки?

— Что за попойка! Так, злость прогнал стаканом-другим-третьим; проклятый сотник, к кому могу вспомнить!.. Дай мне стакан настойки. Вздумал у меня отнимать добро!..

— Господи твоя воля! Что за времена стали! Прежде сотники кланялись добром полковникам, как и следует по начальству...

— Не ты бы говорил, не я бы слушал...

Пришел и кланяется, принес турецкий пистолет — ну, это хорошо, почему мне не принести хороший пистолет? Я взял пистолет и говорю с сотником, как с человеком: «Спасибо, что помнишь службу; мы тебя не забудем и пожалуем; достань и другой, коли случится, под пару этому». А он еще ниже кланяется, да и заговорил со мною как с жидом. «Ваша, говорит, земля вошла в мою клином, так я пришел просить: продайте мне этот клин». Слышишь, Гадюка?

— Слышу, пане!..

— Я вижу, что сотник кругом дурень, взял его за воротник, вывел на крепостной вал и спрашиваю: «А где солнце всходит?» — «Там», — отвечал сотник. «А заходит?» — «Вон там», — сказал он. «Так знай же, пане сотник, что и всходит и заходит солнце на земле полковника, на моей земле то есть, понимаешь? А ты, поганое насекомое, посягаешь на мою славу, хочешь оттягать у меня землю? Хлопцы, нагаек!..» Пришли хлопцы с нагайками; сотник видит, что не шутки, — повалился в ноги: «Я, говорит, и свою землю отдам, помилуйте...» Мне стало жалко дурня; я плюнул на

него и пошел домой, да всилу запил злость. Такой дурень!..

— Дурень, пане! Правду люди говорят: дураков не пашут, не сеют, сами рождаются.

— Сами!.. А что борщ?

— Готов.

— Фу! Какая штука! Во рту огнем палит, — говорил полковник, пробуя ложкой из кастрюли борщ, — казацкая пища. В горле будто веником метет; здоровый борщ!.. Я думаю, лошадь не съест этого борщу?

— Я думаю, лопнет.

— Именно лопнет! Один человек здоровеет от него, оттого он человек, всему начальник.

— И человек не всякий. Доброму казаку, лыцарю (рыцарю) оно здорово, а немец умрет.

— Не возьмет его нечистая! Разве поздоровет.

— Нет, не выдержит, пропадет немец.

— Докажу, что не пропадет. Позови сюда Герцика. Посмотрим, пропадет или нет.

— Послушай, — говорил полковник Иван входившему Герцику, — у нас за спором дело:

я ем свой любимый борщ и говорю, что он очень здоров, а Гадюка уверяет, будто для меня только здоров, а ты, например, пропадешь, коли его покушаешь. Бери ложку, ешь. Посмотрим, кто прав.

Герцик проглотил несколько капель борщу, и лицо его судорожно искривилось, слезы градом пробежали по лицу.

— Что же ты не ешь? — спросил полковник.

— Бьюсь об заклад, с третьей ложки он отдаст богу душу, — хладнокровно заметил Гадюка.

— Я не могу; это не человечесье кушанье, — сказал Герцик.

— Что ж я, собака, что ли?..

— От этого и собака околеет.

— Так я хуже собаки?

— Боже меня сохрани думать подобное! Это кушанье рыцарское, геройское, такое важное — а я что за важный человек... Я просто дрянь...

— Не твое дело рассуждать; ешь коли велют! — говорил полковник, схватив левою рукой за шею Герцика, а правою поднося ему ко

рту ложку здорового борщу.

— Не могу, вельможный пане! Умру!

— Это я и хочу знать — умрешь ты или нет. Ешь!

— Послушайте, пане! У меня есть великая тайна, я сейчас только шел говорить ее вам; позвольте сказать, я вам добра желаю, все думаю, что бы такое полезное сделать; вы мой спаситель... вы...

— Ешь, а после расскажешь

— Умру я от этого состава, и вы ничего не узнаете, а тут и ваша честь, и все, и все...

— Ну, говори, вражий сын, только скорее...

Герцик вполголоса начал что-то шептать полковнику, который, бледнея, слушал его и закричал:

— Ежели ты врешь — смертью попла-тишься!..

— Моя голова в ваших руках; к чему мне врать?

— Пойдем скорее. Гадюко, — сказал полковник, — да возьми с собой крепкую веревку. Веди, немец!..

*Та вже ж тая слава
По всім світі стала,
Що дівчина козаченька
Серденьком назвала*

Малороссийская народная песня

Тихо садилось солнце, зажигая западный край неба; в голубой вышине пламенели два-три облака, переливаясь золотом и пурпуром; тени длиннели, вытягивались по земле; каждый пловучий листок на Удае, стебель водяной травки или тростника, каждая волна и брызга горели, сквозились, просвечивали, таяли в золоте. В пирятинской крепости (замке) благовестили к вечерне; чистый серебристый звон колокола далеко звучал, разливался в теплом, сухом воздухе и, переходя постепенно в отголосок, почти неуловимый для слуха, замирал, пока другая волна звука не сменяла его.

В это время молодой человек в синей черкеске быстро проплыл по Удаю на легонькой лодочке к островку, лежавшему между зам-

КОМ И ПОЛКОВНИЧЬИМ ДОМОМ.

Кругом острова зеленою стеною стоял высокий тростник; далее на мокром берегу росли курчавые кусты лозы; еще далее, на суше, десятка два развесистых плакучих верб; между ними калиновый и бузиновый кустарник, перевитый, перепутанный хмелем и вереском. Дико, глушь, только дрозды выводят там детей на высоких вербах да в лозе ползают змеи; но между кустами есть там узенькая тропинка; чуть приметно вьется она у корней дерев, хоть часто длинные плетни хмеля, падая зелеными каскадами с дерев, кажется, решительно заслоняют путь, но они подорваны внизу, легко раздвигаются и дают дорогу; дело другое в стороны от тропинки: там они спутались такую крепкою стеной, что ни пройти, ни пролезть.

Казак, подъезжая к островку, оглянулся кругом, взмахнул веслами, и лодочка, шумя, спряталась в тростник, только дрожавшие, стройные верхушки его, раздвигаясь в стороны, показывали след, где плыла лодка. Казак привязал лодку к лозовому кусту, выпрыгнул на берег и быстро пошел по тропинке, тро-

пинка оканчивалась у корня толстой вербы, которой ветви, перевитые хмелем, склоняясь до земли, образовали кругом толстую плотную стену, точно беседку.

— Ее нет еще! — прошептал казак, обойдя вокруг вербы, прислонил к дереву винтовку, сел на ломанный пенек и запел;

*Вийди, дівчино, вийди, рибчино,
За гай по корови,
Нехай же я подивлюся
На ті чорні брови!*

Казак окончил песню и стал прислушиваться. Вдруг он вздрогнул, быстро раздвинул ветви и радостно посмотрел на тропинку. Там никого не было; только какая-то желтогрудая птичка преусердно теребила носом кисть незрелых калиновых ягод и шелестела листьями. «Глупая птица! — проворчал казак. — Даже клички не имеет, а шумит, будто что порядочное», — вздохнул и опять запел другую песню:

*Ой ти, дівчино, гордая та пишна!
Чом ти до мене звечора не вийшла?*

— Неправда, неправда!.. — проговорила вполголоса молодая девушка, резво подбегая к казаку. — Я и не гордая, и не пышная, и люблю тебя, мой милый Алексей!

— Марина моя! — говорил Алексей, Обнимая девушку. — Я иссох, не видя тебя, легко сказать — три дня!

— А мне, думаешь, легче?.. Чего я не передумала в эти три дня! Отец такой сердитый, все ворчит!.. Из светлицы не вырвусь, все смотрит за мною... И чего ему от меня хочется?...

— А может, ты сама те хотела вырваться?.. Вот ты уже и плачешь, моя рыбочка!. Перестань, не то — и я заплачу; не пристало мужчине плакать, а заплачу, не выдержу, глядя на тебя!..

— Я не плачу, — говорила Марина, отирая слезы, — а так сердце заболело, что ты мне не веришь, сами слезы побежали.. Грех тебе, Алексей! Когда б не хотела, зачем бы пришла сегодня?.. Наша девичья честь, что ваша светлая сабля: дохни — потускнеет, а я играю честью... В глазах потемнеет, как подумаю, что я делаю?. Увидь меня кто-нибудь, пропала я!..

«Вот, — скажут, — полковничья дочь», и то, и другое, и прочее сплетут, что не только выгодно, и подумать страшно.

— Так ты боишься любить меня?

— Я?.. Алексей! Ты ли это говоришь? Чем страшнее, тем слаще мне!.. Мой милый! Ты не поверишь, как дрожу я вся, когда одна-одинешенька прыгну в лодочку и плыву к острову!.. Спроси меня батюшка, увидай кто-нибудь из людей — пропала я!.. Ну, что ж? — я думаю. — Пропаду так пропаду, знаю, за кого пропаду... Пропаду не за нелюба; умело сердце полюбить, сумеет и вытерпеть; умела слушать твои речи, сумею выслушать и брань, и проклятия; станут бить меня, вспомню твои обьятия, и мне будет весело... Я казачка, Алексей! Умру, а буду любить тебя. Не жить цветку без солнца, а ты мое солнце, ты моя жизнь, мой милый!..

— Верю, верю, моя ласточка, — говорил Алексей, целуя Марину. И долго молчали они, приклонясь друг к другу.

— А хорошо, если б я была ласточкою, — сказала, улыбаясь, Марина, — весело было бы мне!.. Только чтоб и ты был ласточкою... Как

бы мы летали высоко, высоко... сели б отдохнуть на облачко, посмотрели бы оттуда на землю, на сады, на села, на людей; я сказала бы: смотрите, люди, вот я, вот где; я люблю Алексея, — и полетела бы от них — пусть сердятся... Мы носились бы над Удаем, купались бы в воздухе, обнимались бы крылышками и целый день щебетали б про любовь свою!.. Не правда ли?

— Бог знает, что приходит тебе в голову!.. Слушаешь тебя — будто чудесный сон видишь.

— А знаешь, что мне снилось!

— Что тебе снилось?

— Снилось... страшно рассказывать... Ну, да я прижмусь к тебе покрепче — и не будет страшно. Видишь, эти дни я не видела тебя, сильно грустила по тебе, а вчера думала долго, долго...

— О ком?

— Еще и спрашивает!.. Думала долго и заснула; и кажется мне, что мы с тобой рыбы: ты такой хорошенький окунь, весь в серебре, так и блестяшь; перья у тебя красные, глаза черные, такие, как и теперь, и так же хорошо

смотрят — а я, кажется, плотва. Нам было весело, очень весело; мы плавали в каком-то большом озере; вода в нем чистая, светлая, теплая, дно усыпано белым песком, по песку лежат раковины всех цветов, словно цветки на поле; подле берегов растут травы, будто леса зеленеют под водою, а рыбы кругом много, много: плещется, играет, бегают взапуски... Мелкая верховодка собралась в хороводы и гуляет себе толпами; караси играют в дураки; ерши кувыркаются через голову; карп рассказывает сказки; пескари охватывают вприсядку, точно писаря полковой канцелярии, а рак, подмигивая усами, словно пирятинский сотник, кроит из листочка какой-то наряд... всех чудес не припомню... Вот мы гуляли, гуляли с тобою, резвились, плескались и поплыли отдохнуть к берегу, в траву; приплываем к траве, а она часто срослась, перепуталась, как этот хмель; мы стали пробираться, чем далее, все темней, темней... Мне стало страшно: что-то будет там? — подумала я, и — вдруг перед нами огромная голова сома, пасть раскрыта, оскалены зубы, усы страшно подняты, гляжу — это батюшка!.. Вот он, здесь! Смотри...

он... сом... ух! Батюшка... — И Марина, затрепетав, судорожно протянула дрожащие руки к ветвям вербы. Алексей взглянул: в двух шагах грозно смотрит на них из ветвей лицо полковника...

V

Что прошло, то будет мило.

А. Пушкин

Кто из нас не помнит своего детства, чудесного возраста, когда видимый мир впервые раскрывается перед человеком, еще не пресыщенном жизнью, еще не озабоченным прозаическими отношениями быта? Отроку мир божий — прекрасный храм, в котором он пирует, увлеченный ежедневно новыми, разнообразными красотами природы; его радует и первый весенний листок на дереве, и легкое облако, летящее по небу, и голубой цветок, благоухающий в свежей, росистой зелени, и песни жаворонка в чистом поле, и цветная радуга на сизом грунте тучи, и рассказы старухи-няни о Змее Горыныче, чудной королевне-красавице и злых волшебницах; сердце

верует во все чудеса безусловно, не призывая на помощь холодного ума; впечатления жизни, неизгладимы. И долго еще после, когда человек, выведенный годами и обстоятельствами на грустное поле жизни, делается тружеником, с каждым днем разрушая свои мечты, разбивая лучшие надежды, он часто обращается на прошедшее, и воспоминания детства, тихие, светлые, подобно легким сновидениям, убаюкивают его в дни страданий, в которых он, гордый, действующий по собственному разуму, почти всегда сам бывает причиною!

Помню и теперь рассказы доброго старика баштанника, ни один роман, ни одна повесть наших знаменитостей не производят на меня теперь такого действия. Бывало, учитель рассердится на меня не в шутку за мои вопросы, вроде следующих: как мог дом такой-то пресечься? Или дом такой-то войти в славу?

— Не рассуждай, — отвечал учитель.

— Да ведь дома не движутся: как же дом вошел в славу? Вот здесь написано.

— Будешь много знать, скоро состареешься. Учи заданную страничку; вырастешь, сам

узнаешь.

Скажет громко, рассердится, позовет двух-трех горничных и идет в рощу ботанизировать — срывать цветочки.

Учитель постоянно занимался ботаникой, когда никого не было дома Тут мне была своя воля: чуть он в рощу, я уже в степи, сижу перед будкой баштанника и слушаю его рассказы.

Старику было за сто лет — и чего ни знал он, чего ни рассказывал!. И про шведов, и про татар, и про запорожцев. И солнце, бывало, зайдет, и яркие звездочки сверкнут кое-где на синем небе, и роса станет садиться на широкие листья арбузов и дынь, а старик все рассказывает... Прибежишь домой — целую ночь снятся рыжие шведы на курчавых лошадях, поляки, закованные в сталь от головы до пяток, татары низенькие, черные, плечистые, узкоглазые стоят в строю, уставили копья, как еж иглы; вот скачут запорожцы красные, будто пламя, веют чубы, шумят бунчуки и значки, перед ними Дорошенко, усы в пол-аршина, на плече тяжелая булава. Ударили: треск, стон проснешься — и рад, и жалко чу-

десного сна!

Но более всего остался у меня в памяти рассказ старика об охоте — не о бекасиной охоте, не об охоте на зайцев или волков, нет, это была особенная охота; об ней почти так рассказывал баштанник:

— Невеселые теперь времена, право, невеселые; как-то стало и холоднее, и скучнее; вот с очаковской зимы, как принесли москали с собою снег да морозы, и до сих пор не выведутся знать, полюбилося, да и солнце что-то светит не по-прежнему станет вечереть, хоть шубу надевай. А потехи теперешние, срам сказать, мячи да горелки — бабьи потехи, нет характера, совсем нет!.. В старину, на моей еще памяти, какие бывали по веснам охоты... Дурни! — скажет кто-нибудь, — охотятся весною, дурни, и я скажу, а мы все-таки охотились и не были дурни. Охота охоте рознь.

Как люди, бывало, пообсеются в поле, совсем обсеются, и гречихи посеют, а косить еще рано, тут и пойдет гульня, парубки оденутся хорошенько, выйдут после обеда на выгон, лягут на зеленой травке на спину и, глядя на небо, курят люльки да поют песни; или,

оборотятся кверху спиною, курят люльки и что-нибудь рассказывают, глядя на траву; так до вечера веселятся; вечером, известно, придут девушки, и пойдет другое веселье.

Вот так иногда лежат парубки, да и говорят между собою, что довольно уже лежали, набрались силы и не знают, куда ее истратить; а тут, где ни возмись, какой-нибудь из Запорожья характерник, вырастет перед ними будто из земли да и станет насмехаться: «Вот, говорит, где лежат гречкосеи; видно, ни одной козацкой души нету, а все кабаны кормленные» — и прочее все такое обидное...

— Да что ж это за характерник, дедушка?

— Характерник бывал человек очень разумный и знал всякую всячину; его и пуля не брала, и сабля не рубила; у него на все было средство и способ, на все хорошее слово и польза. Характерники знали все броды, все плавы по Днепру и другим речкам; характерник из воды выводил сухого и из огня мокрого, у них была лыцарская совесть и добродушие; жида и прочую мерзость били, грабили, жгли, а церкви не забывали. Вот что были характерники.

Хлопцы, бывало, рассердятся на характерника за насмешки, встанут и захотят его порядком поколотить.

Тогда характерник скажет: «Ладно, хлопцы; вот так! Не говори казаку худого слова! Только постойте, нам ссориться нечего, а вижу, что вы есте добрые казацкие души, а я из Сечи характерник. Шутка шуткою, я за нее поставлю вам ведро водки, а вы все не правы не пристало вам сидеть сложа руки, когда пора охотиться. Я сейчас от Днепра, он вам кланяется, почти уже в берега вступил... Ждет гостей...».

— Вот речь, так речь! Сейчас видно человека! — скажут парубки. — Не трогайте его, хлопцы: он хороший человек; мы и сами думали на охоту, да не было ватажка: тебя сам бог прислал, батьку, веди нас куда знаешь.

— Называйте меня дядьком, для меня и этого довольно.

— Э, нет! Не смотри, что мы оседлые, а все-таки знаем казацкую поведенцию. Ты по летам нам дядько, а теперь если наш начальник, так и батько; вот наши чубы, дери сколько душе угодно; веди, батьку, куда хочешь.

— Ну, добре дети; я вижу, вы народ, знающий службу! Прежде всего я вас поведу в шинок, расплачусь ведром водки за свои прежние речи; у нас и сам кошевой поплатится, когда посмеется над казаком.

Выпив в шинку горелки, хлопцы с характерником едут в другое село, в третье, в четвертое, и — смотри, дня в три наберется сотни две охотников; тогда едут к Днепру, днем прячутся в плавнях и кустарниках, а ночью втихомолку по одному человеку переплывают на конях в разных местах речку, собираются в кучи и глядишь — к свету запылала ляхские села! И там днем кроются в лесах, ночью с криком нападают на деревни и местечки, бьют неприятеля, грабят всякое добро и погребя, разгоняют тысячи народа, а коли почувют, что поляки собирают против них войско, так домой врассыпную, переплывут Днепр — и дома. Тут пойдет гульня!.. И давно ли это было, подумаешь!..

Тут, бывало, старик набожно перекрестится и долго-долго думает, понутив седую голову.

Точно такая ватага охотников расположи-

лась ночевать В лесу у Днепра недалеко от деревни Домантова, чтоб с рассветом въехать в плавни, и там, выкормя целый день лошадей, на следующую ночь отправиться в набег за Днепр. Казаки сидели в кружках и, весело разговаривая, ели походную кашу из деревянных корыт.

— Добрый вечер, паны-молодцы! — сказал молодой человек, подходя к одному кружку.

— Здорово, братику! — отвечали казаки.

— Хлеб да соль!

— Едим, да свой, а ты у порога постой, — прибавил характерник.

— Где тут у дьявола порог! Давайте-ка и мне, братцы, место, — сказал пришедший, вынимая из кармана деревянную ложку.

— Вот казак догадливый. Вечеряй, братику; садись возле меня, — почти вскрикнул характерник, очищая место пришлецу.

За ужином разговорились. Пришлец сказал характернику, что он из Пирятина Алексей-попович, что его застал один важный пан с своею дочкою, и бог знает, чем бы это кончилось, если б он, попович, не бросился в лодку и не уплыл, а что теперь пошел по свету

искать счастья.

— И ладно! — заметил характерник. — Ты казак хоть куда с виду, а учен — еще лучше. Поедем теперь на охоту за Днепр, а там я, пожалуй, сведу тебя в Сечь. У нас житье привольное и разумному человеку почет, только не хвастай своим разумом. Года четыре назад к нам пристал в бору под Киевом ваш брат, студент, а теперь, шутка сказать, он кошевым! Ну, да и голова! Фу, голова!.. В Киеве, видишь, поспорил с начальством за бабу, что ли. Начальство посадило его до распадавы в комнату с железными решетками; Грицка богилою не обидел: хватил молодец решетку — и осталась в руках; он вылез в окно — да в лес и пристал к нам; теперь не кается.

— Грицко? — спросил удивленный попovich. — Такой белокурый?..

— Да, это наш теперешний кошевой, Грицко Зборовский. Разве ты его знаешь?

— Нет: я знал в Киеве Грицка Стрижку; он также убежал года четыре назад из карцера, а Зборовского не знаю.

— Эх, ты, молодая голова! Он по-нашему Зборовский; у нас долг велит давать всякому

казаку фамилию, а у вас он был стрижка или нестрижка, нам нет дела! Привели молодца из бору, вот он и стал Зборовским... Такой высокий, белобрысый, на правой щеке бородавка.

— Коли так, то я его знаю. Большой был мне приятель Грицко; учивали мы с ним вокабулы вместе, и говорили о святой вирши, и каникулами пели псалмы, ходя по дворам.

— Чего же лучше? Так после охоты едем в Сечь?

— Едем.

VI

Считаю лишним описывать подвиги охотников за Днепром. Они прошли с огнем и мечом лесами до речки Выси, за которою уже начинались вольные степи, принадлежащие теперь к Херсонской губернии, разделили добычу и поехали домой, а характерник с Алексеем-поповичем, переплыв реку, углубились в зеленое море степей.

Порою из-под лошадиных ног, свистя, вылетали степные стрепеты, порою, раздвигая кусты ракиты, проползал перед ними огром-

ный желтобрюхий змей, красиво изгибаясь и сверкая волнистыми линиями, и, подняв голову над травой, злобно шипел вслед за ними, порою трусливый заяц, испуганный лошадиным топотом, срывался из-под широких листьев дикого хрена и, будто мячик, укатывался в зеленую даль; да иногда суслик, взобравшись на высокий курган, свистел, присев на корточки. А наши путники все ехали да ехали на юго-восток, кругом были степь да небо; но характерник ехал как по битой дороге, и через несколько дней они были близко Сечи.

Характерник остановился, слез с лошади, протер ей ноздри, что посоветовал сделать и Алексею, и отпустил ее пастись, привязав конец чумбура (длинного ременного повода) к своему поясу, потом сел на траву, поджав ноги по-турецки, и сказал Алексею:

— Садись, братику.

Алексей сел.

— Ну, вот мы скоро будем в Сечи, — продолжал характерник, набивая и раскуривая трубку.

— А далеко ли она?

— Отсюда не видно, а подъедешь ближе — и шапкою докинешь.

— Ты уж и рассердился, батьку?

— Я не сержусь. А как можно доброму казаку прямо допрашиваться чего-нибудь?. Будто баба, у которой язык чешется, или жид нечистый!.. Ты еси еще дурень во казачестве, как я вижу. Казак все знает, а чего и не знает, никогда не спрашивает, разве выведывает политично. Ты сказал бы «Должно быть, к вечеру доедем», а я отвечал бы. «Разве на птице, дай бог завтра к вечеру» Вот ты и смекнул бы, как оно есть. Это раз. А другое: не зови меня больше ни батьком, ни дядьком, на гетманщине дело иное там я вам всем дядько, и вашему полковнику, да и на гетмана не очень смотреть стану: там я запорожец. Вот что! На охоте я был ваш ватажок, начальник, вы меня и звали батьком А тут мы все равны я казак славного Запорожья, ты пристаешь в наше товариство — мы равны. Называй меня, братику, просто Никита Прихвостень.

— Прихвостень?..

— Что? Не нравится мое прозвище?.. Посмотрим, какое еще тебе дадут! У нас все пе-

ременяют прозвища, да не в прозвище дело; не оно тебя скрасит, а ты его скрась Я простой человек, так себе, прихвостень, а на войне Прихвостень впереди всех, а Прихвостню кланяются куренные, и сам кошевой говорит «Прихвостень — настоящий казак». Это да. А третье, как бы ты прежде ни был дружен с нашим кошевым, не признавайся к нему сразу, пока он сам тебе не скажет, что тебя помнит Было время, вы бурсаковали вместе — хорошо, бурсаковали так бурсаковали — и конечно Теперь он великий начальник, ему не покажется, коли всякая дрянь станет к нему лезть в приятели, ты не дрянь сам по себе, да в казачестве еще теленок. Понимаешь?

— Может, и так

— Так оно и есть. Теперь у меня к тебе есть просьба. Любишь ли ты хмельное?

— Употребляю из политики, как следует человеку, а не то, чтоб великий был охотник.

— Так после чарки, другой, десятой, не порывает ли тебя прогулять все, дочиста, до нитки, не тянет ли даже душу заложить?..

— Такой оказии не бывало.

— Ну, ладно! Спрячь, пожалуйста, вот эти

пять дукатов и не отдавай мне, как бы я ни просил, как бы ни приказывал, что бы ни делал — не отдавай до Сечи, а с остальными я управлюсь.

— Пожалуй А те все прокутишь?

— Прокучу!. Да и на беса ли они мне? В Сечи все общее, что твое, то мое, такое уже братство, все общее, кроме коня и оружия, это уже связано с душою, как чубук с трубкою — его не разразишь. Я бы и пяти дукатов не оставил, да знаешь, нужно поклониться куренному и кошевому, не будь этого, все пустил бы на волю. После чарки у меня так вот и загорится в глазах, хочется музыки, песней, грому, распахнется казацкая душа, гуляй!.. А тут, верно, за грехи мои, явится чертенок и сядет на носу... ей-богу, вот так-таки и сядет верхом, как на кобылу, и вижу, да не могу снять, так и ездит, так и вертится и шепчет: «Давай, Никита, денег на водку». Чуть замешкаешь или второпях не отыщешь скоро кармана, так ущипнет, проклятый, за кончик носа, что слезы градом побегут, а сам оборотится ко мне и язык показывает. Вот какая оказия! Порой не вытерпишь, дашь ему щелчка, кажись про-

пал, только на носу затуманится; прошел туман — опять сидит проклятая тварь и щиплет за нос!..

— Где же будешь кутить, брате Никита?

— Опять спрашиваешь по-бабьи! Ох, мне эти белоручки-гетманцы!.. Казак не без доли. Садись, поедем.

Козаки поехали крупною рысью. Скоро Никита начал оглядываться по сторонам, приложил кулак к правому глазу, долго всматривался вдаль и закричал;

— Так и есть, вот близко. Берег, Алексею!

— Где?

— Разве ты не видишь впереди ничего?

— Ничего, кроме птицы.

— Вот эта птица, что летает, и есть берег.

— Мало ли мы видели птиц!

— Птица птице рознь: это ворона, вот что хорошо...

— Ворона — птица так себе.

— Оттого и хорошо, что так себе; ворона — дурак; вольный Кречет, словно казак, быстро летает по дикой степи, а ворона мужиком дело, трется около жилья; увидел ворону — и жилье близко... Скачи за мной...

Через полчаса казаки прискакали на край крутого оврага, подле его глубоко, чуть приметною тесемкою вился по песчаному дну маленький ручеек; по сторонам громоздились, торчали огромные серые скалы; в расщелинах лепился терновник, шиповник и выбегал прямыми зелеными побегами гордовый кустарник, очень известный на юге по своим крепким, бархатистым чубукам. Внизу молодая девушка, сидя на камне у берега ручья, мыла ноги.

— Вот и Варкина балка (Варварин овраг), — сказал Никита, — тут ее и зимовник.

Девушка быстро запрокинула назад голову, взглянула вверх, вскрикнула и исчезла.

— Экая проворная Татьяна! — проворчал Никита. — Это племянница Варки, веселая девушка!

— А Варка кто?

— Варка вдова нашего казака, по смерти мужа держит шинок тут неподалеку от Сечи. Духу мужского нет здесь, все бабы — она да ее племянницы; а живет хорошо, все деньги наши сиромы (безродные, холостяки) тут остав-

ляют. Тут пьют, тут гуляют, тут... А вот она сама.

В это время шагах в двадцати из-за скалы показалась женщина лет сорока; волосы ее были убраны под казацкую шапочку-кабардинку; лицо и шея смуглые, загорелые, над темными сверкавшими глазами черною скобкою лежали густые сросшиеся брови; за поясом у нее была пара пистолетов и татарский нож, в руках турецкая винтовка. Уставя дуло винтовки против казаков, она грозно спросила: «По воле или по неволе?»

— Вот так лучше! — отвечал захохотав Никита. — Известно, по воле! И своих не узнала. Варка Ивановна.

— Тьфу вас к черту! — сказала Варка, опуская винтовку. — Напугали меня. Думала ни-весть кто, так принарядился Никита Прихвостень! Откуда, коли по воле?

— Пшеницу пололи.

— Доброе дело! А куколя много?

— Есть, небого! — отвечал Никита, побрякивая в кармане дукатами. — Пока с собою носим.

— Милости просим! Отваливайте же ка-

мень... А это новитний (новичок)?

— Еще теленок, а будет волком.

Казачи отвалили камень, и им представилась узкая тропинка, по которой с трудом сошли они и свели лошадей. Лошадей спрятали под навес скалы, а сами отправились в шинок.

Шинок был вроде грота или землянки; он состоял из большой комнаты и двух маленьких по сторонам; маленькие были спальни хозяйки и трех ее племянниц, а большая служила сборным местом для казачьих оргий. Вокруг, под стенами, стояли лавки и столы, в углу бочка пенника, на которой часто, сидя верхом, засыпал какой-нибудь характерник; над нею, в нише, стояли бутылки с разными настойками, ковши, стаканы, на стенах висели сабли, ружья и пистолеты.

Угрюмый Никита вовсе переменялся, войдя в этот чудный шинок, где уже ожидала их Варка с бутылкою и чаркою в руках; три девушки, очень недурные, сидя у окна, что-то шили.

*Сонце низенько, вечір близенько,
Прийди до мене, моє серденько! —*

весело пропел Никита, принимая чарку; выпил, разгладил усы и, обратись к девушкам, сказал:

— Здравствуйте, мои перепелочки! Живи, здоровы? Ждали в гости доброго казака?

— Куда как ждали! — закричали девушки в один голос. — Много вас таких поганых!

— Та-та-та, го-го-го, затрещали, сороки! А покажет поганый польское золото, не так запоете... Ба! Что это за новый крест у вас на том берегу?

— То так, — отвечала шинкарка, — третьего дня подгуляли хлопцы, немного поспорили, да один и остался на месте.

— Все по-прежнему, горячие головы! Кто ж остался?

— Старый хрен, войсковый писарь, — сказала смеясь Татьяна, — стал меня целовать, дурень, при всех; я закричала: казаки заступились за меня, да Максим Шапка так как-то нечаянно хватил его саблею, что он уже и не встал с места.

— А попробую я поцеловать тебя; посмотрю, убьет ли кто меня, — сказал Никита, обвивая рукою шею Татьяны.

— Отвяжись! Еще не выросли руки обнимать меня! Право, закричу, сейчас закричу! Вот, вот, вот закричу!

— А я тебе вот этим рот зажму, — говорил Никита, — держи покрепче зубами! — И, дав ей в рот червонец, начал целовать, приговаривая: «Экая королевна!» — Что ты сидишь, братику Алексею, как ополудни сова на береге? Пей, гуляй — я плачу! Видишь, как весело! Пой песню, подтягивай за мной:

*Давай, Варко,
Еще чарку,
И поповичу под варку.
Выпьем — небу станет жарко!
Ох, моя Татьяна,
Чернобрива кохана!*

*У красавицы шинкарки,
У казацкой тетки Варки,
Много водки, меду, пива,
И племянницы на диво!
Ох, моя Татьяна,
Черноброва кохана!*

*Белогруда и красива
Татьяночка чернобрива,
И блестит меж казаками,*

*Как дукат меж пятаками!
Ох, моя Татьяна,
Чернобрива кохана!*

Вот вам и песня, сейчас сразу сложил, такая моя натура казацкая — хмель в голову, песня из головы, а ничему не учился... Эх, братику Алексею! Что-то было б из меня, если б учили, как вашего брата!

К вечеру приехали еще человека четыре казаков поминать, как они говорили, покойного писаря, и поднялась страшная кутерьма. Никита бросал золотые и червонцы и, беспрестанно щелкая себя по носу, ворчал:

«Уж тут! Уж уселся, проклятый! Вот божее наказание!»

— Если б музыку, — сказали казаки, — то-то была бы потеха!..

— Истинная была бы потеха, — прибавил Никита.

— У меня есть бандура; Супоня на прошлой неделе заложил за бутылку водки, — говорила шинкарка. — Играйте, коли умеете.

— Хорошо! Хорошо! — закричал Никита. — Давай ее сюда!

— Давай ее сюда! — закричали казаки.

Принесли бандуру.

— Хорошо! — говорили казаки, посматривая друг на друга, — Да кто ж сыграет?

— Кто сыграет? Эка штука! Мало я видел играющих! Кто хочет, пусть и играет, только не я.

— И не я! И не я! И не я! — отозвалось со всех сторон.

— Это б то вышло: есть в кувшине молоко, да голова не влазит! — сказал Никита. — Не умеешь ли ты, Алексей? Ты человек грамотный.

— На гусях то я немного маракую, а на бандуре никогда не пробовал, — отвечал Алексей.

— Пустое! Гусли, бандура, балалайка, свистелка — все одно, все играет, все веселит! Ей-богу, оно все родня между собою! Играй!

Алексей положил бандуру на колени, как гусли, взял два-три аккорда, и вышла какая-то музыкальная чепуха вроде казачка. Казаки пришли в восторг и пустились вприсядку.

Никита с приятелями гуляли нараспашку, съели годовалого поросенка, выпили

неимоверное количество всякой всячины, и за полночь у Никиты не осталось ни гроша в кармане. Шинкарка перестала давать водки и не хотела брать под залог ни оружия, ни коня.

— Да отчего же ты не берешь моего добра? Моя сабля добрая и конь добрый; отдам дешево. Бери, глупая баба!..

— Ты сам глуп, Никита; нельзя, так и не беру: кошевой не приказал.

— Правда, правда, — говорили казаки, — только позволь пропивать оружие, через неделю на всю Сечь останется один пистолет.

— И одним пистолетом всех переколочу!.. Такие-то вы добрые товарищи, бог с вами, тянете руку за бабою!.. Верно, моя такая нечистая доля, — жалобно говорил Никита. — Еще бы чарку-другую, и довольно... А! Постойте, постойте! Я и забыл! У тебя, Алексей, есть мой деньги?

— Есть пять дукатов.

— И хорошо; давай их сюда!

— Не дам.

— Как ты смеешь не давать ему его денег? — спросили казаки.

— Он сам не велел: нужно, говорит, оста-

вить на гостинец куренному.

— Да, да, правда, Алексей! Нужно поклониться начальству, нужно... Вот приятель, по-ди сюда, я тебя поцелую.

— Вот еще, великая птица куренной! — сказали казаки.

— И то правда, как подумаешь, — продолжал Никита, — не велика птица, ей-богу! Был простой казак, а теперь куренной казак, как и я, и все мы. Поживу — и меня выберут в куренные. Выберете, хлопцы?

— Выберем, выберем! — закричали казаки.

— Выберите его сейчас, — сказала шинкарька.

— Хорошо, хорошо! Сейчас. Да здравствует наш куренной Никита Прихвостень! Ура!..

Казаки бросили шапки кверху; Никита важно раскланялся, поблагодарил за честь, сел на лавку и, под-боченясь, сказал:

— Ну, теперь, Алексей, отдавай гроши своему начальству; оно тебе приказывает.

— Не отдам, хоть бы ты и вправду был начальник; проспись, тогда отдам.

— Эге! Твердо сказано, характерно. Хлоп-

цы, из него путь будет! А вы что там смеетесь, бабы? Думаете не отдаст? Посмотрим. Хлопцы, станьте подле этого изменника; так, сабли вон!..

— Ну, что? теперь отдашь, братику? а?

— Не отдам.

— Не отдашь? — протяжно сказал Никита.

— Чужие, чужие! — закричала Татьяна, бегая в комнату. — Слышь, скачут по степи!..

Один казак прильнул ухом к стене и значительно сказал:

— Сильно скачут: верно, за кем погоня.

— Я разведаяю, — быстро проговорила шинкарька, схватив со стены ружье, — а вы топчите, гасите огонь.

Огонь погашен; в темноте защелкали курки ружей и пистолетов и прошептал один казак:

— Скачут; сильно скачут; уж не крымцы ли? Говорят, они собираются на гетманщину. — И все стало тихо, как в гробу. Чья-то мягкая рука сильно схватила за руку Алексея, и кто-то прошептал ему на ухо:

— Ступай за мной, я спасу тебя.

— Кто ходит? — спросил Никита.

— Это я, — сказала Татьяна, — сидите смирно; пойду проведаю, что делается.

Она вышла и вывела за собой Алексея. Ночь была тихая, безлунная; звезды ярко горели на чистом небе; чуть слышно роптал ручей, разбиваясь о встречные камешки, да порою шелестела земля, сыпавшаяся из под ног шинкарки, которая осторожно пробиралась между скалами вверх по тропинке. Вдали на степи слышался глухой топот. С полверсты шел Алексей за Татьяною вниз по ручью; потом она быстро вскочила на скалу и почти втащила туда за руку Алексея, раздвинула терновик, села на камень, посадила возле себя изумленного попovichа и сказала:

— Не бойся, ничего не бойся; мне жалко стало тебя, они б тебя убили ни за что, вот я и выпустила в степь казацких коней; кони побегают да и прибегут сюда, а нашим гулякам страху задала: они забыли о тебе с перепугу. Сиди здесь; как уснут наши, мы убежим; твоего коня и еще другого я нарочно оставила: я украду у Варвары мешок дукатов, и мы славно заживем. Хочешь?

— Пожалуй, убежим, я тебе за это заплачу,

а золота не крадь у тетки; грех красть.

— Какая она мне тетка!.. Твоей платы я не возьму: не век же мне все делать за плату!.. Сиди смирно; послезавтра будем далеко, у вас, на гетманщине.

— Нет, я хочу в Сечь.

— Зачем тебе в Сечь?

— Видишь, Татьяна: я люблю девушку богатую, знатную, люблю и не могу назвать ее своею; так пусть же пропадет моя голова, коли позволила сердцу полюбить неровню. Поеду в Сечь, авось в схватке сложу голову под ножом татарина.

— И ты ее любишь?

— Очень люблю.

— И она хороша?

— Лучше всех на свете! Я ее люблю больше всего, больше своей жизни. Если мне доведется умереть за нее, я поблагодарю бога; мне будет весело и умирать.

— Я бы убила ее.

— За что?

— Так. Отчего она счастлива, отчего меня никогда никто не любил так? Ласкали меня, как собаку, и, как собаку, отталкивали ногою,

когда я наскучала им. Алексей, поцелуй меня как сестру; хоть из милости... Я полюбила тебя с первого взгляда; я смеялась, шутила, пела перед тобою — а ты был грустен, даже не улыбался, от чего хохотали другие; даже не смотрел на меня, и мне стало совестно самой себя; я была сердита; мне казалось, я ненавижу тебя, казалось, готова была убить тебя, и не знаю, чего бы ни дала, чтоб спасти тебя от пьяных казаков... Бог с тобою, люби другую! Не думай обо мне, только поцелуй меня... Мне ночью приснится твой образ, твои стыдливые очи, кроткие речи, твой поцелуй, и мне станет весело, весело... Поцелуй же меня! Посмотри, я плачу, ей-богу, плачу!. Ну, вот так, спасибо! Сиди смиренно, спи на здоровье; казаки проспят — все забудут; они люди добрые... вы поедете вместе...

И, жарко, судорожно обняв и поцеловав Алексея, Татьяна исчезла в кустах терновника.

Несколько времени был слышен топот около балки, потом громкие голоса казаков, ловивших лошадей, потом восклицание: «Агов, Алексей! Где ты? агов!..» Затем какая-то

песня, звон разбитого стекла, еще какие-то отголоски все тише и тише... и Алексей заснул.

Было уже около полудня, когда проснулся он; перед ним стояла Татьяна.

— Я пришла будить тебя, — говорила она, — и жалко было будить, так хорошо спал ты. Вставай скорее; Никита и казаки готовы ехать на Сечь.

— Ехать, так и ехать, — отвечал Алексей. Никита, увидев Алексея, очень обрадовался; казаки удивлялись, как он мог пропасть из шинка, будто сквозь землю провалился, и предрекали из него в будущем великого характерника; но и Никита и все вообще не могли представить, как мог человек вытерпеть, не отдать на попойку чужих денег и даже чуть не попал через это в весьма неприятную ссору.

— Странное дело для меня бабы, — говорил Никита, выезжая из балки, — никто их не поймет. Хочешь поцеловать Татьяну — бьет по рукам, царапается, как кошка, а выезжаешь — не вытерпит, в слезы ударится!

Алексей оглянулся: стоит Татьяна над балкою, смотрит им вслед и оттирает глаза белым

VII

*Обычаи запорожские чудны!
Поступки хитры! И речи,
и вымыслы остры и больше
на критику похожи.*

Никита Корж

Начало вечереть, когда перед нашими путешественниками открылась крепость, обнесенная высоким земляным валом, с глубоким рвом вокруг и палисадом; вал был уставлен пушками; за валом раздавался говор, дымилась трубы, блестел золотой крест церкви и торчала высокая колокольня; из ее окон глядели пушки на все четыре стороны.

— Вот и Сечь-мати! — сказал Никита.

— И святая Покрова, — прибавили казаки, сняли шапки, перекрестились и въехали в городские ворота. Казаки поехали по своим куреням, а Никита прямо к кошевому представлять новобранца.

— А что, узнал ты Зборовского? — спрашивал Никита, идя от кошевого к куреню.

— Как не узнать! Он тот самый Стрижка, с которым не раз мы гуляли в Киевской бурсе. Я уже хотел признаться, да такая в нем важность!..

— Важная фигура, настоящий кошевой! Всем говорит: «Здорово, братику», будто простой казак, да как скажет: «братику», словно тумака даст, только кланяешься — настоящий начальник.

— Я думал, он узнает меня.

— Молчи, братику, он узнал тебя, я это сейчас заметил; да себе на уме, верно, так надобно. Правду говорит песня:

*Только бог святой знает,
Что кошевой думает, гадает!..*

А вот мы уже близко нашего Поповичевского куреня. Есть ли у тебя в кармане копейка?

— Больше есть.

— Я не спрашиваю больше; а есть ли копейка?

— Найдется.

— Ну, так войдем в курень; скоро станут вечерять.

Курень была одна огромная комната вроде большого рубленного сарая, без перегородок, без отделений, могущая вместить в себе более пяти- или шестисот человек; кругом под стенами куреня до самых дверей были поставлены чистые деревянные столы, вокруг их — скамьи; передний угол был уставлен иконами в богатых золотых и серебряных окладах, украшенных дорогими камнями; перед иконами теплились лампы и висело большое серебряное церковное паникадило; несколько десятков восковых свеч ярко горели в нем и, отражаясь на блестящих окладах образов, освещали весь курень. Под образами, за столом, на первом месте сидел куренной атаман.

Когда Никита с Алексеем вошли в курень, казаки уже собрались к ужину и толпою стояли среди комнаты, громко разговаривая кто о чем попало. В силу протолкались они к атаману между казаками, которые, неохотно подаваясь в стороны от щедрых толчков Никиты, продолжали разговаривать, даже не обращая внимания на то, кто их толкает.

— Здорово, батьку! — сказал Никита, кла-

няясь в пояс атаману; Алексей сделал то же.

— Здоровы, паны-молодцы. Чем бог обрадовал?

— Вот кошевой прислал в твой курень нового казака.

— Рад... Ты, братику, веруешь во Христа?

— Верую.

— А что тебе говорил кошевой?

— Поважать старших, бить католиков и бусурманов.

— Добре!

— Говорил стоять до смерти за общину и святую веру, ничего не иметь своего, кроме оружия; не жениться.

— Добре, добре! И ты согласен?

— Согласен, батьку.

— А еще что?

— А после сказали: ты еси попович, так и ступай в Поповичевский курень; там же и казаков теперь недостает.

— Правда, пет у меня теперь и четырех сотен полных: много осталось в Крыму, царство им небесное!.. А что был за курень с месяц назад, словно улей!.. Ну, перекрестись же перед образами и оставайся в нашем товаристве.

Между тем куренные кухари (повара) устали столы деревянными корытами с горячею кашей и такими же чанами с вином и медом, на которых висели деревянные ковши с крючкообразными ручками — эти ковши назывались в Сечи «михайликами», — разносили хлеб и рыбу, норовя, чтоб она была обращена головою к атаману; принесли на чистой, длинной доске исполинского осетра, поставили его на стябло (возвышение) перед атаманом и, сложив на груди руки, низко поклонились, говоря: «Батьку, вечеря на столе!»

— Спасибо, молодцы, — сказал атаман, встал, расправил седые усы, выпрямился, вырос и громко начал: «Во имя отца и сына и святого духа».

— Аминь! — оттрянуло в курене, и все благоговейно замолкло.

Куренной внятно прочел короткую молитву, перекрестился и сел за стол. Это было знаком к ужину: в минуту казаки уселись за столы, где кто попал; пошли по рукам михайлики, поднялись речи, шум, смех.

— Да у вас на Сечи едят чисто, опрятно, а как вкусно, Хоть бы гетману! — говорил Алек-

сей своему товарищу Никите. — Одно только чудо...

— Знаю, — отвечал Никита, — что мы едим из корыт? Правда?

— Правда.

— Слушай-ка нашу поговорку: вы едите с блюда, да худо, а мы из корыта досыта...

— Дурни ж наши гетманцы: они перенимают у Запорожья только дурное, а на хорошее не смотрят.

— Люблю за правду; видно, что будет казак. Выпьем еще по михайлику.

К концу ужина кухари собрались в кучку среди куреня, атаман встал, за ним все казаки, прочитал молитву, поклонился образам, и все казаки тоже; потом казаки поклонились атаману, раскланялись между собою и ответили по поклону кухарям, говоря: «Спасибо, братики, что накормили».

— Это для чего? — спросил Алексей Никиту.

— Такая поведенция, из политики. Они такие же казаки, лыцари, как и прочие: за что ж они нам служили? Вот мы их и поважаем

После ужина куренной подошел к дере-

вянному ящику, стоявшему на особом столе, бросил в него копейку и вышел из куреня; казачки делали то же.

— Бросай свою копейку, — сказал Никита Алексею, — завтра на эти деньги кухари купят припасов и изготовят нам обед и ужин.

«Чудные обычаи!» — думал Алексей, выходя из куреня. А вокруг куреня уже гремели песни, звенели бандуры; кто рассказывал страшную легенду, кто про удалой набег, кто отхватывал трепака... И молодая луна, серебряным серпом выходя из-за высокой колокольни, наводила нежный, дрожащий свет на эти разнообразные группы.

VIII

Проснувшись рано утром, Алексей-попович заметил в курене необыкновенное движение — казаки наскоро одевались, брали оружие и торопливо выходили. Возле церкви был слышен глухой гром.

— Зовут на раду, — сказал Никита, — пойдём!

— Пойдём, — отвечал Алексей. — Зачем же нас зовут?

— Придём, так услышим. Может, поход куда или что другое, бог его знает!

Площадь перед церковью Покрова кипела народом; у столба, среди площади, стоял доубищ (литаврщик) и бил в литавры. В растворенных церковных дверях виднелись священники и диаконы в полном облачении. Но вот зазвонили колокола, засверкали перначи, бунчуки, зашумели войсковые знамена; преклоняясь до земли, явился кошевой атаман. Священники вышли к нему со крестами, народ приветствовал громким «ура». Кошевой был одет, как простой казак: в зеленой суконной черкеске с откидными рукавами, в крас-

ных сапогах и небольшой круглой шапочке-кабардинке, обшитой накрест позументом, только булава, осыпанная драгоценными камнями, да три алмазные пуговицы на черкеске, величиною с порядочную вишню, отличали его от рядового запорожца, между тем как бунчужные и другие из его свиты были в красных кафтанах, изукрашенных серебром и золотом.

Кошевой приложился к кресту, взошел на возвышенное место, нарочно для него приготовленное, и, обнажив свою бритую голову, поклонился народу.

— Здоров, батьку!.. — закричал народ и утих. Литавры перестали бить, колокола замолкли.

— Я вас созвал на раду, добрые молодцы, запорожское товариство! Как вы присудите, так тому и быть.

— Рады слушать! — закричали казаки.

— Вам известно, молодцы, что бог взял у нас войскового писаря. Так богу угодно; против его не поспоришь. Жил человек и умер, а место его всегда живи: другой человек живет на нем. Так и мы умрем, и после нас будут

жить!

— Правда, батьку! Разумно сказано! — отозвалось в толпе.

— Вот и у нас теперь осталось место войскового писаря; изберите, молодцы, достойного человека.

Кошевой спокойно стал, опершись на булаву, а меж народом пошел говор; тысячи имен, тысячи фамилий слышались в разных концах; не было согласия. Долго стоял кошевой, наконец поднял булаву, махнул — и говор прекратился.

— Вижу, — сказал кошевой, — что дело трудное: Ивану хочется Петра, Петру — Грицка, а Грицку — Ивана, и кто прав? Дело темное, в чужую голову не влезешь, будь спор о храбрости, о характерстве, сейчас бы решили — это дело видимое; а письменность не по нас...

— Правда, батьку!

— Хотите ли, молодцы, я вам предложу писаря? Вчера пришел к нам в наше товарищество попович из Пирятина; я с ним говорил вчера и удивлялся его разуму. Сам бог его прислал на место покойного; выберите его —

и не будет ни по-чьему, а будет по воле господа.

Алексей слушал и не верил ушам своим.

— Хитрая собака наш кошевой! — шепнул ему Никита, толкая в бок. Между тем народ заговорил:

— Да, он молодец, — кричал один казак, — не задумается над михайликом!

— А какой характерный! — продолжал другой.

— А как играет на гусях и на бандуре! — подхватил третий — Заморил нас танцами у Варки в шинке.

— Лучше этот, хоть я его и не знаю, нежели пройдоха Стусь! — кричал четвертый.

Говор час от часу делался сильнее, одобрителнее — и вдруг разом полетели кверху шапки: Алексей-попович был избран в войсковые писаря. Тут же, на площади, надели на него почетную одежду, привесили к боку саблю, а к поясу войсковую чернильницу и, вместе с куренными атаманами и прочею знатью, повели на завтрак к кошевому. Простому народу выставили на площади жареных быков и бочку водки.

После завтрака все разошлись; кошевой оставил писаря для занятий по делам войска. Когда они остались одни, долго кошевой смотрел на Алексея и сказал:

— Алексей! Разве ты не узнаешь меня?

— Давно узнал, да не знал, как признаться к тебе.

— Ну, обнимемся, старый товарищ! Вот где мы сошлись с тобой!.. Помнишь Киев? Быстроглазую Сашу? А?

— Помню, Грицко! А как злилось начальство, когда узнало о твоём побеге!

— Неужели?.. Я думаю..

— Сказали, что ты знаком с нечистой силой, а без нее не выломил бы решетки. И в голову не пришло, что я подпилил ее...

— Век не забуду твоей услуги. А Саша что?

— Три дня плакала, на четвертый утешилась, а на пятый вышла за того ж магистра, что посадил тебя в карцер.

— Вишь, гадкая! Да я об ней больше не думаю... Расскажи мне лучше, как ты сюда попал? Алексей начал говорить.

— Вот наш кошевой трудящий человек, — говорили за ужином по куреням казаки, — с

утра до самого вечера занимался с новым писарем войсковыми делами: писарь у него и обедал.

А у кошевого во весь этот день о войсковых делах и помина не было. Алексей рассказывал ввои приключения, как он попал в Сечь и т. п., и решительно объявил сильное желание умереть. Кошевой утешал его, обещал при случае хлопотать у полковника Ивана, а между прочим, сказал, что скоро будет случай ему отличиться и, заслужа известность храброго писаря, лично просить руки дочери полковника, «потому что (прибавил он) через несколько дней мы отправимся морем жечь крымские берега; наши лазутчики известили, что хан хочет напасть на Украину — чуть узнаем, что татары вышли в поход, мы на чайки и, словно снег на головы, падем на их города и села. А до тех пор ты займи палатку войскового писаря: она вот рядом с моим кошем — тебе теперь, как старшине, не пристало жить в курене; да при людях не показывай вида, что мы старые приятели: запорожцы очень подозрительны — и тогда я мало могу сделать тебе полезного, не рискуя по-

терять свою власть Ну, прощай, Алексей!»

— Прощай, Грицко.

Старые приятели обнялись и расстались.

IX

*Веди меня, пустынный житель,
Святой анахорет.*

В. Жуковский

Никто в Пирятине не догадался, куда исчез Алексей-попович. Утром нашли на берегу Удая пустую лодку; в ней лежала шапка Алексея, и все положили, что он утонул. Донесли об этом полковнику Ивану.

— Коли утонул, так ищите себе другого по-па, — хладнокровно отвечал полковник, а сам к вечеру со всем своим двором уехал в Лубны.

Недели две после возврата полковника в Лубны приехал туда старый запорожец Касьян. Он уже не жил в Сечи, а сидел где-то в степи зимовником, по старой привычке занимался охотою на Великом Лугу и привозил по временам в гетманщину шкуры видных (выдра, loutre) на так называемые кабардинские шапки, которые были в великой моде на За-

порожье и, из подражания, очень уважались на гетманщине. Распродав свой товар и купя кое-что в Лубнах для домашнего обихода, Касьян возвращался домой.

Запорожцы никогда не ездили ни в каком экипаже; но везти разные громоздкие вещи верхом было Касьяну неловко. Касьян купил в Лубнах беду, то есть повозку на двух колесах, запряг в оглобли оседланную лошадь и поехал, проклиная при каждом толчке глупую езду в повозках.

— Наказал меня бог проклятыми оглоблями, — ворчал Касьян, — давят коня в бока, да еще и развязываются. Ну, бурый, ну, старик! Наказала и тебя лихая година! Были мы с тобой, бурый, молоды... Ой-ой! Скверная трясушка словно кулаком в бокхватила. Ну, бурый! Днепр недалеко, напою... Так ли, бывало, едешь в старину! Опять развязалось! Тьфу ты, наказание, суцая бабья езда; молоко бы только возить... Стой, бурый!

Касьян привязал оглоблю к хомуту, для крепости затянул зубами узел и проворчал: «Чего лучше? Настоящий калмыцкий узел, после этого разве калача ей захочется, про-

клятой оглобле!» Сел на беду, весело махнул кнутом и запел:

*Славно жить на кошу:
Я земли не пашу,
А парчу все ношу;
Я травы не кошу,
Сыплю золотом!
Тра-ла-ла! Тра-ла-ла!*

— Эх, бурый, выноси! Днепр недалеко.

*На войне не шучу,
А на смерть колочу,
Без войны я кучу,
Да кучу, как хочу,
В свою голову!
Тра-ла-ла! Тра-ла ла!*

— Здоров, дядьку! — зазвучал чистый, приятный голос за повозкою.

— Тьфу ты, нечистая сила, как человек сзади подкрался!.. Здоров, хлопче!

— Я не подкрался, дядюшка, а скакал верхом; вольно ж тебе было не слышать.

— Тут не до того, что прислушиваться; проклятые оглобли так и разлазятся, словно живые раки из горсти; так умаешься, так умаешься...

— Что запоешь песню.

— Ого, какой вострый! И песню запоешь; так что же? Тут степь, а в степи воля; пою, коли хочется...

— Не сердись, дядюшка Касьян, я пошутил только. Коли хочешь, и я с тобой спою.

— А ты почему знаешь, что я Касьян?.. Может быть, я Демьян или Митрофан...

— Как не знать! Тебя все Лубны знают; у тебя мой двоюродный дядюшка купил себе шкуру.

— А зась ему, твоему дядюшке, ходить в моей шкуре: пусть свою носит.

— Э, дядюшка Касьян, будто я сказал твою шкуру! Известно, купил звериную шкуру того зверя, что на плавнях раки ест; вот у меня из него шапочка

— Хорош казак, не знает какую шапку носит.

— Не до того было прежде, дядюшка, все учился, и сабли в руки не брал. Послушай, дядюшка Касьян, ты домой едешь?

— Домой в зимовник.

— А Сечь далеко от тебя?

— Далеченько.

— Послушай, дядюшка: возьми меня с собою в зимовник

— На что ты мне?

— погоди, дядюшка Касьян, а из зимовки проводи меня до Сечи.

— Тебя? До Сечи? Да куры станут смеяться, коли я приведу в Сечь мальчишку, школяра! Верно, высечь хочет дьячок, так ты удрал из школы и не знаешь куда деваться.

— Нет, — отвечал казак, потушив полные слез глаза, — не бранись, дядюшка, доведи меня до Сечи; дам тебе два дуката, у меня больше нет: я ухожу от беды неминуемой, от смерти. Возьми меня, дядюшка, не то брошусь при тебе в Днепр — на твоей душе грех останется.

— Пожалуй, пожалуй. Да кто ты сам?

— Ах, спасибо тебе, дядюшка!.. Я... Не выдавай меня, дядюшка!.. Я Алексей-попович из Пирятина.

— С нами крестная сила!.. Тот самый, который утонул, говорят?

— Тот самый.

— И ты жив?

— Жив.

— Что ж за охота тебе прятаться без при-

чины?

— Слушай, дядюшка; я тебе признаюсь. Видишь, я любил, очень любил дочку полковника Ивана...

— Фи, фи, фи! — просвистел Касьян. — Ну?

— А полковник и застал меня...

— Вот оно что!

— Я убежал и все прятался в тростниках, да пробирался в Сечь, пока тебя не увидел. Свези, дядюшка!

— Сказал, свезу, так свезу. Поезжай за мною... Откуда ж ты взял такое доброе платье и коня?

— Платье мое, дядюшка; а коня, грешный человек, украл. Не сердись...

— Вот еще! Кто не крал чего-нибудь на веку... Переезжая Днепр, Касьян думал: чем больше живу, тем больше уверяюсь, что глупее бабы нет ничего на свете. Как можно полковницкой дочке врезаться в такого мальчишку, в школяра? Был бы человек, здоровая, дебелая душа — куда бы ни шло, а то бог знает что! Известно, баба!..

— Что ты ворчишь, дядюшка?

— А так, вспомнил баб...

— Да и рассердился?

— Да и рассердился.

— Отчего?

— Не всем рассказывать! Состарился, при-
смотрелся, живу долго на свете — умирать по-
ра!

Х

Во времена Запорожья Великий Луг (то есть болотистые острова и низменные места днепровского берега) был покрыт дремучим лесом, из этого леса казаки строили большие одномачтовые гребные лодки, вмещавшие в себе до сотни человек, и, к удивлению мореходцев, безопасно переплывали на них Черное море, являлись нежданно даже в Малой Азии, грабили, разоряли города и безопасно возвращались в Сечь. Эти лодки были узки, длинны, легки на ходу и назывались чайками, вероятно, по своей быстроте и потому что по наружным краям с обеих сторон они были обшиты смоленным тростниковым фашинником, который давал им вид птицы с сложенными крыльями и препятствовал лодке тонуть, хотя бы она и наполнилась водою.

Свежий южный ветер быстро гнал по Черному морю несколько сот казачьих чаек; впереди всех вырезывалась лодка атамана, с небольшим крестиком на мачте. Ветер дул ровный, округляя тяжелые паруса из циновок, кое-где заплатами бархатом и турецкими шаями. Казаки, подняв весла, отдыхали, курили трубки. Было жарко; полуденное солнце жгло, ветер дышал зноем, будто из раскаленной печи. Кошевой и несколько человек куренных, расстегнув воротники рубашек, полудремали, прислушиваясь к однообразному ропоту и плеску морской волны; войсковой писарь, лежа, перелистывал какую-то церковную книгу; кормчий, старый казак, сидел на корме, поджав ноги и не спуская глаз с пенистой струи, бежавшей за кормою, пел заунывную песню:

*Где ты ходишь, где ты бродишь,
Казацкая доля?
Придавила казаченька
Горькая неволя!
О ох! Ох, о-хо!
Горькая неволя!*

*Нет ни племени, ни роду;
Тяжко жить на свете:
Ну, хоть просто с мосту в воду.
Доля моя, где ты?
О ох! Ох, о-хо!
Доля моя, где ты?*

*Отозвалась моя доля
По тот бок Лимана:
«Терпи, казак, я ласкаю
Богатого пана»
О ох! Ох, о-хо!
Богатого пана.*

Вдруг лодка дрогнула, накренилась, парус заплескал по воде, поднялся, встрепенулся, будто живое существо, и обрызгал всю лодку.

— Ого! — сказал кошевой, быстро вскакивая на ноги — Долой парус! Спускай мачты!

В минуту упал парус, и мачта тихо легла в длину атаманской чайки; другие сделали то же. Гребцы принялись за весла. На корме старый казак сидел по-прежнему спокойно, неподвижно и напевал:

Доля моя, где ты?

— Вишь, как разыгралась погода, — закричал кошевой, — молодецкая погода, потеш-

ная погода! А ты, старый хрен, тянешь бабскую песню; накликаешь беду на свою голову, что ли? Ну-те, хлопцы, хором, да повеселее! — и работать лучше с песнями. — Гребцы переглянулись, прилегли на весла и запели в такт:

*С понизовья ветер веет,
Повекает;
Ветер лодочки лелеет
И качает.*

*Гей, хлопцы, живо, живо!
В Сечи водка, в Сечи пиво...
Будем отдыхать,
Будем отдыхать.*

*Дружно в весла! Чайкой чайку
Обгоняйте!
Про Подкову, Наливайку
Запевайте.*

*Гей, хлопцы, пойте песни,
Словно птицы в поднебесье
Вольные поют,
Вольные поют!*

Казалось, лодки пошли на веслах еще быстрее; они будто понимали песню, неслись,

как птицы, смело прыдали по волнам. А ветер все крепчал; сильнее и сильнее колыхались волны, крупнее и крупнее накатывались валы, сшибали, разбивались друг о друга, обдавая мореходцев брызгами и пеною. Черное море, всегда готовое пошуметь, разыгралось не на шутку. Оно кипело, стонало, клокотало; над водою поднялся туман от мелких брызг; на небе не было ни облачка, солнце шло по небу, странное, зловещее, без лучей, будто красный шар. Казачью флотилию разметало в разные стороны; чайки потеряли друг друга из виду.

На атаманской чайке гребцы выбились из сил, положили весла; ее качало, бросало по волнам, как мячик; старшины и казаки собрались вокруг кошевого.

— Чудная погода, кошевой батьку! — говорил один куренной. — Видимое наказание божее! Была бы туча, буря, гром, дождь, молния и прочее — оно бы ничего; а то дует, бог знает откуда и зачем?.. Видимое наказание!

— Не придумаю, чем прогневили бога, — отвечал кошевой, — в церковь мы ходили, посты держим, возвращаемся с лыцарского по-

двигая: много истребили бусурманских голов, чтоб христианам было жить на свете шире. Крым долго нас не забудет!

— Так; а зачем же он дует так страшно, и чего ему хочется?

— Я знаю, чего ему хочется, — перебил кормчий, — ему хочется грешной головы; пока не кинем в море эту голову, ветер не утихнет. Помню, давно, еще при Степане Батории, было на нас такое попущение; кинули в воду грешника — как сто баб прошептало: разом утихло!

— Что ж! Одному не штука умереть для славы и добра всему товариству, — закричали казаки, падая на колени, — слушай, кошевой батьку, нашу исповедь; чьи грехи больше, того и кидай в море.

— Погодите, — сказал войсковой писарь Алексей-попович, — завяжите мне, братцы, глаза черною китайкою, привесьте к шее камень и бросайте в море. Я грешник: пусть я один погибну за все славное казацкое воинство.

— Как? — заговорили кошевой и казаки. — Ты святое письмо читаешь, народ на-

учаешь на добро; неужели ты грешнее нас?

— Я лучше себя знаю, братцы-товарищи; тяжки мои грехи: я ушел из дому, как вор, не простился с отцовскою могилою, бросил беспомощную старуху матушку... Слышите? Это не ветер воет: это она плачет о недостойном сыне!.. Не море клоочет — гремят ее проклятия на мою грешную голову. Не буря подымает тяжелые волны — это вздохи матери колеблют море!.. И мало ли еще грехов на мне! Берите, братцы, камень и бросайте меня с ним.

Алексей-попович надел белую рубаху, стал на колени и, раскрыв церковную книгу, начал молиться. А между тем ветер стал утихать. Казаки переглянулись и закричали: «Читай Алексей! Читай! Твои молитвы спасают нас». Скоро ветер совершенно стих; заходящее солнце светло и радостно глянуло па море; волны улеглись; чайки, как птицы, слетелись со всех сторон по сигналу к лодке кошевого и на ночь пристали отдохнуть к небольшому островку недалеко от лимана. Сосчитали лодки, людей — и, к изумлению всех, не было никакой потери. Тогда с крика-

ми радости подняли казаки на руках Алексея, называя его спасителем, а после ужина, за чаркою водки, тут же сложили про него песню, которая и до сих пор живет в устах украинских кобзарей и бандуристов:

*На Чорному морі, на білому
камні,
Ясенький сокіл жалібно кви-
лить, проквіляє,*

и проч.

Эта дума даже напечатана между украинскими народными песнями, изданными в 1834 году Михаилом Максимовичем.

Я вам переведу ее, если хотите.

«На Черном море, на белом камне, ясный сокол жалобно стонет. Смутен сокол пристально смотрит на Черное море. Не добро починается на море. На небе звезды потускнели, полмесяца затянуло тучами, а низовый ветер бурно шумит; а на море поднимаются супротивные волны, разбивают суда казачьи на три части.

Одну часть понесли волны в Агарскую землю, другую пожрало дунайское устье. А третья где? — тонет в Чер-

ном море.

При третьей части был и Грицко Зборовский, атаман запорожский, он по судну ходит и говорит: «Кто-то меж нами, паны, великий грешник; недаром злая погода так нас гонит, налегает на нас. Исповедуйтесь, паны, милосердному богу. Черному морю да мне, вашему кошевому, и бросайтесь в море, не губите казацкого войска».

Казаки это слышали, но все молчали; никто за собою не знал греха.

Тогда отозвался войсковой писарь, рестровский казак Алексей-попович пирятинский. «Хорошо вы, братцы, сделаете, когда возьмете меня, завяжете глаза, прицепите к шее камень и бросите в море; пусть я один погибну, а казацкого войска не допущу до беды».

Услыша это, казаки сказали Алексею: «Ты святое письмо в руки берешь, читаешь, нас на добрые дела наставляешь; как же ты имеешь более грехов?» «Хоть я и читаю святое писание, и вас наставляю, а сам нехорошо делаю. Когда я из Пирятина выезжал, не прощался с отцом и матерью, гневался на старшего брата, добрых людей ли-

шил хлеба-соли, детей и старых вдов толкал стремянами в груди; гуляя по улицам, проезжал мимо божией церкви, не снимал шапки, не крестился — за это и гибну теперь! Не волна встает по морю, это родительская молитва карает... Если б меня не утопила буря и молитва сохранила, умел бы я уважать отца и матушку, старшего брата почитал бы как отца, а сестру как матушку».

Начал Алексей-попович исповедывать свои грехи, начала утихать буря; волны, словно руками, потихоньку подымали казацкие суда и приносили к Тендереву острову.

Тогда начали казаки удивляться, что в Черном море под бурю совсем потопали, а ни одного человека не потеряли.

Тогда Алексей-попович вышел из судна, взял в руки святое письмо и стал научать народ:

«Надобно, паны, людей уважать, почитать отца и матушку: кто это делает, тот всегда счастлив, смертельный меч того обминает, родительская молитва вынимает человека из

дна морского, от грехов душу искупляет и помогает на суше и на море...»

XI

На другой день, к вечеру, вся Сечь встречает кошевого и казачью флотилию; при радостных криках разделили награбленное серебро и золото; быстро ходили по рукам михайлики за здоровье кошевого и войскового писаря; по всем куреням слышна была новая песня:

*На Чорному морі, на білому
камні,
Ясенький сокіл жалібно кви-
лить, прокпиляє.*

И где ни проходил Алексей, летели кверху шапки и раздавались радостные крики. К ужину позвал Алексея кошевой.

— На ловца и зверь бежит, — сказал он входявшему Алексею, — про волка помолвка, а он и тут! Вот лубенский полковник Иван просит нашей помощи. Крымцы узнали, что половина его полка ушла по гетманскому приказу к ляхскрй границе, и хотят напасть

на Лубны. Теперь полковник и просит нас, как добрых соседей, помочь ему, коли что случится нехорошее. Так напиши ему, что я рад с товариством помогать ему, нашему собрату, единоверцу, как бог повелел, — только коли он отдаст свою дочь за войскового писаря войска Запорожского, Алексея-поповича. Напиши так поскорее; я подпишу, и отдай этому посланцу — надобно торопиться.

Теперь только взглянул пристально Алексей на полковничьего гонца и радостно закричал:

— Ты ли, Герцик?

— Я, пане войскового писарь, — отвечал гонец, низко кланяясь.

— А ты его знаешь, Алексею? — спросил кошевой.

— Знаю, батьку; это искусный человек. Здоров ли полковник?

— Здоров, и полковник здоров, и его дочка Марина, и все здоровы..

— Думал ли ты меня здесь увидеть?

— Никак не думал; все думали, что вы утонули, ловя рыбу, и плакали по вас, а вы здесь... великим паном. Силен господь в Сию-

не!..

Ужинали у кошевого очень весело. Каждый на это имел свои причины. После ужина кошевой отдал письмо полковничьему гонцу, приказав ему торопиться. Алексей зазвал Герцика на минуту в свою палатку. На дороге их встретил Никита Прихвостень, он был навеселе и уже щелкал себя по носу, приговаривая: «Да убирайся, проклятая гадина, с доброго носа! Вот наказание божие!.. Да тут и сидеть беспокойно. Казацкий нос — вольный нос; лети себе лучше вот к тому пану, старому шляхтичу, забыл его прозвище... досадно, забыл! Да тебя не учить стать, злая личина, и сам знаешь... Вот у него нос уже оседланный золотым седлом со стеклышками; сидеть будет хорошо, покойно! Ступай же... А! И наш войсковой писарь!.. Говорил вражьим детям, что будет толк из Алексея-поповича, будет — и вышел... И бьет ворога, как мух, и на гусях играет, и богу молится за наше товариство!.. И песня есть, ей-богу, есть... Вот она, песня:

*На білому морю, на соколиному
морю,
Чорний камень квилить, прокви-*

Тут что-то не так, одно слово не так поставлено, а завтра выучу, и будет хорошо: сегодня некогда!.. Куда ж ты идешь, пане писарь?»

— Спать пора, брат Никита, и ты ложись спать.

— Куда тебе спать, тут такая комедия! Послушай. Прихожу в курень и сел ужинать; подле меня новичок, просто дрянь, ребенок, сидит и ничего не ест, я ему михайлика — не пьет, говорит: «Нездоровится, дядюшка».

— Какой я тебе дьявола дядюшка? Зови меня брат Никита. А тебя как звать?

— Я, говорит, Алексей-попович.

— А может, еще и пирятинский? — говорю я.

— Именно пирятинский!

— Вот тут я и покатился от смеху. Какой ты, говорю, Алексей пирятинский... Бог с тобой, уморил меня смехом! Есть у нас Алексей-попович пирятинский, не тебе чета, хоть и молод, да дебелая душа, и от михайлика не отказывается, и прочее... А ты что за казак! Молодо, зелено, еще не сложился; хоть и порядочного роста, да прям и тонок, словно тро-

стинка...

— Я вот с неделю живу в курене, — сказал он, — от всех слышу, что есть другой Алексей-попович пирятинский и хотел бы посмотреть на него.

— Увидишь, — сказал я, — он теперь приехал вместе со мною. Я бы тебе сейчас показал, да он у кошевого.

— Покажи мне, когда выйдет.

— Ладно, — сказал я, — я вот тут уже давно брожу да напеваю новую песню.

— Странно, если это тебе не снилось, — отвечал войсковой писарь, — в Пирятине, сколько помню, не было другого Алексея.

— А явился, ей-богу, явился! Вот я тебе его покажу.

— Пускай завтра.

— Нет, не завтра, сегодня покажу. Никита Прихвостень справедливый казак, не станет снов рассказывать; выпить — выпьет при случае, а лгать не станет. Приведу, сейчас приведу пирятинца, докажу правду.

*Ох! По соколиному камню, черно-
му камню,
Білое море квилить, проквиляє.*

И Никита ушел к Поповичевскому куреню, напевая новую песню. А Алексей-попович вошел в свою войсковую палатку, расспросил Герцика, надавал ему пропасть поручений и в Лубны и в Пирятин, снабдил на дорогу несколькими дукатами и подарил дорогой турецкий кинжал, осыпанный алмазами, говоря: «Я сам своеручно убил пашу и снял с него этот кинжал; пусть он будет залогом нашей дружбы».

Герцик со слезами обнял Алексея, обещал выполнить все поручения, тотчас дать знать обо всем в Сечь и вышел.

Еще тихо колебалась, еще не успела успокоиться опущенная пола войлочной палатки войскового писаря, как опять поднялась — и робко вошел молодой, стройный казак; из-за него выглядывала голова Никиты.

— Вот тебе земляк! — говорил Никита. — Толкуйте с ним про Пирятин, а мне некогда, меня зовут! Прощайте! Никита врет, Никите снится! Никита так себе; дурень Никита! А Никита все свое... — Последние слова едва слышно уже отдавались за палаткой.

XII

*Попід гаєм, мов ласочка,
Крадеться Оксана.
Забув, побіг, обнялися.
«Серце!» — та й зомліли.*

Т. Шевченко

Скромно стоял у дверей молодой казак, Сопустив глаза, судорожно поворачивая в руках красивую кабардинскую шапочку. Алексей взглянул на него, протер глаза и почти шепотом сказал:

— Боже мой! Или я рехнулся, или это Марина!.. Две крупные слезы покатались по щекам молодого казака, он быстро поднял ресницы, выпустил из рук шапочку и уже лежал на груди Алексея, тихо повторяя:

— Я, мой милый! Я, мой ненаглядный Алексей! И долго они ничего це говорили, глядели друг на друга, смеялись, плакали и, сливаясь горячими устами в один бесконечный поцелуй, уносились далеко от земли.

За все печали, заботы и страдания, за всю тяжесть нашей земной жизни великий тво-

рец щедро наградил человека, дав ему молодость и любовь...

— Как же ты попала сюда, моя горлица? — спрашивал Алексей. — Как ты оставила отца и прошла пустые вольные степи?

— Помнишь ты страшный вечер, когда отец подстерег нас на острове?.. Я сказала тебе: беги скорее, беги в Сечь, я тебе приказываю! И ты убежал, поцеловав меня; а из-за дерева вышел отец, грозно посмотрел на меня, поднял надо мною сжатую руку — и остановился, будто неживой; после ударил себя кулаком по лбу и тихо, грустно сказал: «Не гляди на меня так страшно! Ты похожа на мою покойницу... поедem домой!» Отвернулся и пошел; я за ним иду и ног не слышу. Пришли к берегу, там стоит лодка, на лодке Гадюка и Герцик. Батюшка сказали им весело: «Я пошел гулять по острову и дочь нашел; она тут же гуляла». Мы сели и приехали домой.

— А ты не видала здесь Герцика? — спросил Алексей.

— Как же! Он с нами повстречался у самой твоей палатки, да не узнал меня, только сказал Никите: «Проведи меня, добрый человек,

к Полтавскому куреню».

— А ты его сразу узнала?

— Еще бы! Ночь лунная, как день... О чем ты загрустил?..

— Ничего. Тебе надобно бежать скорее из Сечи. Если узнают, что ты здесь, будет худо, мы можем поплатиться жизнью.

— Лишь бы вместе, я согласна умереть.

— К чему умирать, когда мы будем жить вместе счастливо, спокойно? Наш кошевой писал сегодня к твоему отцу: он для меня тебя сватал, а кошевой нужен отцу твоему. Как ты думаешь: благословит нас отец?

— Бог его знает, его не разгадаешь! Раз он пришел ко мне утром, а я плакала. «Знаю, — сказал он, — о чем ты, дура, плачешь. Если б мне поймать этого Алексея...» — «Так что бы?» — спросила я. — «Чему обрадовалась? Тебе на что? Уж я знал бы, что с ним сделать!» — Я пуще заплакала и пошла в сад; смотрю — солнце так светит тепло, а мои цветы цветут и наклоняются друг к дружке; на них ползают, вокруг летают мушки, жучки, пчелы, все вместе, все роем, а я одна на свете, подумала я, как тот подсолнечник, что стоит

одинокое над дорожкой, но и ему есть дело, есть радость: он любит солнце, и куда пойдет оно, светлое, подсолнечник поворачивает за ним свою лучистую цветную головку. И стало мне совестно... Бездушный цветок поворачивается к солнцу: будь у него сила, он оторвался бы от корня и полетел бы к нему — а я? Мое солнце, моя радость далеко; знаю, где он, и сижу, будто связанная!.. Досижу, что просят меня за нелюба... страшно!.. К вечеру моя цыганочка продала все мои дорогие серьги и дукатовые ожерелья, и в ту же ночь я убежала из отцовского дома, пристала дорогою к запорожцу Касьяну, отдохнула у него день на зимовке, а после он, спасибо, провел меня до самой Сечи... Ну полно, полно, перестань, ты меня зацелуешь!..

— Ах ты, моя ненаглядная Марина! И для меня ты бросила дом, отца, родину? Для меня решила ехать верхом, по дикой стороне, надела казацкое платье, обрезала свои длинные, темные косы?[1]

— На что они были мне?... Разве удавиться было ими?.. Я с радостью взяла ножницы и обрезала их. Но когда они упали передо мною

на стол, темные, длинные, волнистые — словно что оторвалось от моего сердца; не стану скрывать, я заплакала. «Косы, мои косы! — подумала я. — Сколько лет я свивала и развивала вас, сколько лет я гордилась вами перед подругами, когда вы, как черные змеи, красиво обвивались, переплетались вокруг головы моей и красный мак порою горел над вами, словно пламя! Сколько раз вы жарко разметывались по изголовью моей девичьей постели, когда чудный сон о нем волновал мою кровь, и сколько раз черною тучею закрывали мое лицо от светлого утра, от божьего солнца, когда я, пробудясь, краснела, вспоминая сон свой!.. Думала я в гроб лечь с вами, темные мои косы, с вами, подруги моей одинокой радости и печали... И вот я подняла на вас руку, подняла руку на самое себя!.. Падайте, слезы, крупным дождем на мои косы; не прирастут они, не пристанет скошенная трава к своему корню, не цвести сорванному цветку...» Так я думала — не сердись, мой милый... но это было недолго: я вспомнила, для кого лишилась своей красы — и перестала плакать, даже сама сплела обрезанные косы,

спрятала на груди своей и принесла тебе в подарок. На, возьми их, они твои!..

Алексей прижал их к сердцу, обнял и расцеловал Марину. Алексей и Марина плакали.

— Скажи мне, — спросил Алексей после долгого молчания, — зачем ты назвалась Алексеем?

— Оттого, что мне нравится это имя... Ох вы, казаки, казаки! Думаете, что у баб и ума нет; а пойдет на хитрости — пятнадцатилетняя девчонка проведет старика. Видишь, я назвалась Алексеем, пирятинским поповичем, нарочно, чтоб сыскать тебя скорее. Я знала, что ты должен быть на Сечи; я и не знала даже верно этого, но мое сердце вещевало, что ты здесь. А как сыскать тебя? Стану расспрашивать — может, догадаются, да и спрашивать как? А может, ты еще и не в Сечи?.. Я и подумала: назовусь сама Алексеем; коли кто тебя не знает, тот ничего не скажет, а другой, может, скажет: знаю и я одного Алексея-поповича пирятинского, видел его вот там и там, или что подобное. Это мне и на руку...

— Вишь, какая хитрая!

— Придется хитрить, когда силы нет. Чуть

я сказала в курене свое имя, так все и закричали: «Вот штука! Есть у нас уже один Алексей-попович да еще и пирятинский; вот комедия! Да его теперь нет, поехал на крымцев; да что за молодец! Да он войсковым писарем!» И я все узнала, не спрашивая о тебе, мой сокол. Не грусти же так! Или ты разлюбил меня?..

— Меня бог покарает, коли разлюблю тебя! Оттого я и задумался, что люблю тебя, что мне жалко тебя. Мои товарищи не злы, но суровы и неумолимы, когда кто нарушает их закон. Беда, если тебя узнают! У меня сердце замирает, как подумаю... Я боюсь, что этот Герцик...

— Что за нужда Герцику мешаться в ваши войсковые дела? Ведь он не запорожец, а твой приятель; да он и не узнал меня!..

— Последнему-то я не верю: у него глаза, как у кошки; скажи разве, что ему гораздо выгоднее не изменять нам...

— Разумеется!.. Оставь свои черные думы, посмотри на меня веселее, поцелуй меня!..

— Рад бы оставить, сами лезут в голову. Опять думаю: ведь Герцик знал, что ты убежала?

— Он остался в Лубнах, в нашем доме, так, верно, знал.

— Отчего же он мне не сказал? Как подумаю, тут есть недоброе...

— Ничего!.. Вот ты мне дай доброго коня, я поеду прямо на зимовник Касьяна и там подожду тебя; батюшка, верно, согласится на нашу свадьбу; не согласится — бог с ним, займем кусок степи, сделаем землянку, и заживем.

Тут пошли толки, планы о будущем, уверения в любви, клятвы — словом, пошли речи длинные, длинные и очень бестолковые для всякого третьего в мире, исключая самых двух любящихся. Наконец, Алексей вдруг будто вздрогнул и торопливо сказал:

— Пора нам ехать; ночь коротка; чуешь, как стало свежо в палатке, скоро станет рассветать. Мне нельзя отлучиться, я тебе дам в проводники Никиту: он человек добрый, любит меня и мне не изменит; боюсь только, что он пьян... Ну, пойдём! Боже мой! Слышишь, кто-то разговаривает за палаткой?..

Марина молча кивнула головою.

— Да, разговаривают; не бойся, это запоз-

далые гуляки, я сейчас прогоню их...

Алексей быстро распахнул полы палатки и остановился: на дворе уж совсем рассвело; перед палаткой стоит толпа казаков.

— Что вам надобно? — спросил Алексей.

— Власть твоя, пан писарь, — отвечали казаки, — а так делать не годится. Недолго простоят наша Сечь, когда начальство само станет ругаться нашими законами, когда...

— Убирайтесь, братцы, спать!.. Вы со вчерашнего похмелья...

— Дай господи, чтоб это было с похмелья! Вот я сорок лет живу на Сечи, а никогда с похмелья не грезилось такое, как наяву совершается, — говорил седой казак, — как можно прятать в Сечи женщину? От женщины и в раю человеку житья не было; а пусти ее в Сечь...

— Жаль, что из моего куреня вышел такой грешник! — сказал куренной атаман. — Исполкон веку не было на Поповическом курене такого пятна.

— Вишь, какое беззаконие! — говорили многие голоса громче и громче. — Вот оно, нечистое искушение! Вот сидит она. Возьмем

ее, хлопцы, да прямо к кошевому

— Вы врете! — сказал Алексей. — Ступайте по куреням, а то вам худо будет.

— Нет, нет! — кричали казаки — Лыцари не врут; может, врут письменные, в школе выучились; еще до рассвета нам сказали, что у писаря в палатке женщина, мы и собрались сюда и слышали ваши речи, и ваши поцелуи — все слышали, и по па призывали...

— Так есть же, коли так, у меня в палатке женщина: она моя невеста. Не хотел я оскорблять товариства и нарушать Сечи; через час ее уже здесь бы не было, а теперь ваша рука не коснется ее чистой, непорочной; разве труп ее и мой вместе вы получите...

Алексей обнажил саблю.

— Стой, сын мой! — закричал голос священника, выходявшего из толпы. — В беззакониях зачат еси и во греха рожден ты, яко человек; не прибавляй новой тяжести на совесть. Прочь оружие! Смирись, грешник, перед крестом и распятым на нем.

Священник поднял крест; казаки сняли шапки, Алексей бросил саблю и стал на колени.

— Так, сын мой, покорись богу и законам; бери свою невесту и пойдём на суд кошевого и всего товариства. Не троньте его, братья, он сам пойдёт.

— Пойдём, — твердо сказала Марина, выходя из палатки, — пойдём, мой милый; наша любовь чиста, бог видит ее и спасет нас.

И, окруженные казаками, Алексей и Марина пошли за священником к ставке кошевого.

Строго принял кошевой весть о преступлении войскового писаря, сейчас же собрал раду (совет), и, несколько часов спустя, Алексей и Марина были осуждены на смертную казнь. Из уважения к заслугам писаря сделали ему снисхождение: позволили умереть вместе с Мариною. В Сечи не нашлось казака, который бы решился казнить женщину.

— Нет ли где татарина? — спросил кошевой.

— Известно, мы не берем в плен этой сволочи, — отвечали ему, — а сотник Буланый, который теперь живет зимовником, весною поймал на охоте отсталого татарина и засадил его молоть в жерновах кукурузу (маис),

так разве привести этого татарина, коли он не замололся уже до смерти.

Послали за татаринoм, казнь отсрочили до завтра, а преступников посадили под караул в рубленую избу с железными решетками на окнах.

XIII

*Отакий то Перебендя
Старий та химерний!
Заспівав весільної,
А на журбу зверне.*

Т. Шевченко

У запорожцев был обычай доставлять преступникам перед казнию всевозможные удовольствия. Вкусные кушанья и дорогие напитки были принесены к обеду Алексею и Марине; но они не тронули их и грустно сидели, по временам взглядывали друг на друга и, с какою-то бешеною радостью улыбаясь, сжимали друг друга в объятиях. Но вот уже солнце клонится к западу; в воздухе стало прохладнее; толпы казаков, шумно разговаривая, бродили между куренями; вдалеке наигрыва-

ла бандура плясовую песню, слышался топот разгульного трепака, неслись неясные слова песни:

*От Полтавы до Прилуки
Заломала закаблуки!
Ой лихо! Закаблуки!
Дам лиха закаблукам! —*

и усиленный трепак заглушал окончательные слова. С другой стороны слышались торжественные, протяжные аккорды, и чистый мужественный голос пел:

*На Чорному морі, на білому
камні,
Ясенький сокіл жалібно кви-
лить, проквіляє.*

Народ кругом слушал песню о храбром войсковом писаре, — а сам писарь, приговоренный к смерти, задумчиво стоял у решетки и, слушая хвалебную песню, грустно глядел на солнце, идущее к западу. Резвая ласточка высоко реяла в воздухе, весело щебетала и, спускаясь к земле, вилась около тюрьмы; недалеко перед окном на старой крыше вытягивался одинокий тощий стебель какой-то

травки; он сквозился, блестел от косвенных лучей солнца и, колеблемый вечерним ветерком, тихо наклонялся к тюрьме, будто прощаясь с заключенными. На глазах Алексея показались слезы.

— О, не гляди так грустно, мой милый! — говорила Марина, ломая свои белые руки. — Твоя тоска разрывает мое сердце! Я, неразумная, довела тебя до смерти... знаю, что ты думаешь.

— Полно, Марина! Перестань кручиниться; не знаешь ты моих тяжелых дум.

— Знаю, знаю! Прощай, ты думаешь, ясное солнце, завтра не я уже стану глядеть на тебя! Завтра в это время веселая ласточка станет петь и летать, как и сегодня, и спокойно уснет вечером в своем гнездышке, да и эта хилая травка завтра будет еще колебаться на божьем свете, и какой-нибудь залетный жучок посетит ее, одинокую, а меня уже не будет! Не станет молодого удальца; будет меньше на свете одним добрым казаком, и напрасно вороной конь станет ждать к себе хозяина — не придет больше хозяин! Другой господин сядет на коня! Закроются, ты думаешь, мои светлые

очи! Сорвет хищный ворон чуб с моей буйной головы и совет из него гнездо для своих детей!.. — Рыдания прервали слова Марины.

— Бог с тобой, моя ласточка! Что за черные мысли пришли к тебе? Видит бог, я не думал этого.

— Знаю, ты думал, к чему довела любовь наша? Что из нее вышло, кроме печали и несчастья?.. Алексей, мой ненаглядный сокол! Разве я хотела этого? Я несла к тебе мою чистую любовь, мое непорочное сердце, а принесла — смерть!.. Завтра мы умрем, как возьми сегодня мою чистую любовь... Послушай, — шепотом продолжала Марина, робко озираясь, — скоро будет ночь; проживем ее как никогда не жили, а завтра посмеемся над людьми; они хотят казнить любовников, им завидна чистая любовь наша — пускай казнят супругов... Будем знать, за что умрем!

И Марина спрятала пылающее лицо свое на груди Алексея.

— Ну, о чем же ты еще грустишь, мой милый? — сказала Марина, с тихим упреком глядя в очи Алексею.

— Не о себе грущу я: я вспомнил Пирятин,

мою старуху матушку; может быть, в это самое время она узнала от Герцика о моем почете, помолодела, думая скоро увидеть меня... И, может быть, она глядит там далеко, в Пирятине, на это самое солнце и просит бога, чтоб спряталось оно скорее за гору, выводило скорее другой день, и чтоб и тот проходил скорее и пришло радостное время нашего свидания. И теперь, когда я, глядя на солнце, прощаюсь с ним, может быть, она в замковской церкви, перед образом богоматери, стоит на коленях, радостно плачет и благодарит ее... Чует ли твое сердце, добрая матушка, что ты не увидишь более сына, что он, убегая, как вор, из Пирятина, не простясь с тобою, навеки покинул тебя, оставил беспомощную на старости и завтра умрет позорно? Вот что думал я, моя милая. А смерти я не боюсь, за гробом жизнь вечная! Там не плачут, не вздыхают.

— Там мы не разлучимся с тобою! — весело сказала Марина — Мы станем жить вместе вечно, вечно! Не правда ли? Наши души будут летать на светлом облачке, сядут на море и поплывут с волны на волну далеко-далеко, и никто им не скажет: куда вы? Зачем вы?

Мы будем вольнее птиц небесных, весело слетим на могилу, где будут покоиться наши кости; я разрастусь над твоею могилою кустом калины, пущу корни глубоко и обовью ими тебя, словно руками, раскину ветви широко, чтоб твой прах не топтали люди, не пекло солнце; темною ночью вспомню нашу здешнюю жизнь, наше горе — и тихо заплачу; но чуть взойдет солнце, отру слезы, пусть никто не видит их, весело зашевелю, засмеюсь дробными листочками и душистыми цветочками; молодой казак сорвет ветку моих цветов, подарит их своей коханке, коханка влетет мой цветок себе между косы — и пуще полюбит казака; я сумею навеять, нашептать ей чары любви — я любила на свете... любила тебя, мой черно бровый казак, тебя, моя радость.

— Ого! Какие веселенькие! — сказал, входя, Никита.

— А о чем же нам печалиться? — спросила Марина.

— Разве вас простили?

— Нет; а мы здесь вместе, и умрем вместе, и будем всегда вместе...

Никита покачал головой.

— Как нам не радоваться, брат Никита! — сказал Алексей. — Попали в беду, а тут как все нас любят, все навещают, приходят утешать...

— Гм! Вот оно что! Хитро сказано! Чистый московский обиняк. На что людям мешать? Вам, я думаю, веселее без третьего... А то досадно, что Алексей дурно думает о Никите, а Никита вот и теперь пообещал караульным сорок михайликов вина да меду сколько в горло влезет, чтоб пустили увидеть вас, пару глупых Алексеев... Господи, прости, что бабу нарекаю мужским именем!.. На Никиту сердятся, а Никита целый день поил стариков, говорил с попом да с письменными людьми, каким бы побытом и средствами спасти пана писаря. Бог вам судья, братику!

— Ну, что ж они говорили? — спросила Марина.

— У! Быстра! Цикава! Довела до беды доброго казака да и не кается! Что говорили? Ничего не говорили. Вот уже и плакать собирается!

— Оставь ее, Никита; грех обижать женщину. Что? Видно, нет надежды?

— Да я только так, я знаю их натуру; с тобою другая речь пойдет Говорить-то они говорили много, а толку мало; все равно, что кашу варить из топора: хоть полдня кипит, и шумит, и пенится; сними с огня котелок, хлебни ложкою — чистая вода, а топор сам по себе остался... Поил я до обеда стариков-характерников; нечего сказать, старосветские люди, стародавние головы, дебелие души, а к обеду сдались — лоском легли; я тогда за советом к одному, к другому: молчат, хоть бы тебе слово, ни пару из уст, лежат, как осетры! Сам виноват, подумал я, передал материалу. После обеда собрал с десяток письменных душ, поставил перед ними целое ведро горелки и говорю, вы, братцы, народ разумный, не чета нам, дуракам, вы часто в письмо глядите и знаете, что там до чего поставлено и что за чем руку тянет, дайте совет и помощь в таком деле, как оно будет?..

— А будет так, как бог даст, — отвечали они.

— Разумно сказано! Сейчас видно птицу по полету, — прибавил я.

— О! Мы, браге, живем на этом; от нас все

узнаешь, вот только хватим но михайлику.

Выпили по два, по три михайлика, а все молчат: гляжу — пьют уже по десятому, я вспомнил сердечных характерников, что до сих пор храпят под валом, и сказал:

— Что ж, панове, как ваша будет рада (совет)?

— Вот что я тебе скажу, Никита, — начал один, — а что я скажу, тому так и быть; вся Сечь знает, что я самый разумный человек.

— Не знаю, братику, где он такого разума набрался. Разве в шинке у Варки, — перебил другой, — я не скажу о себе, а Болиголова его за пояс заткнет.

— Убирайся ты с своею Болиголовою подальше, куда и куриный голос не заходит; вот я расскажу... — сказал третий.

— А чтоб ты кашлял черепками, стеклом да панскими будинками (хоромами)! — закричал другой. — Да как подняли меж собою письменные души спор, крики, брань, что твои торговки на базаре в гетманщине, только и слышно: Я! Я! Я! Я! Не успел оглядеться да расслушаться, а они уже друг друга за чубы; перессорились, передрались, словно пету-

хи весною, и пошли до куреня позываться (судиться); пропала только моя горелка! А вот уже вечереет, я и пошел до панотца (священника). Панотец меня выслушал и говорит:

— Дело, браге, важное, не выскочить Алексею от смерти.

— Будто, батьку, никак не можно спасти? — спросил я.

— Нельзя, — сказал панотец, — таков закон на Сечи. Правда, коли найдется женщина, которая захотела бы из-под топора или петли прямо вести преступника в церковь и перевенчаться с ним, то его простят; да кто захочет опозорить себя? Да и где возьмется на Сечи женщина? Люди в старину нарочно сделали такой закон: знали, что женщине неоткуда взяться.

— Вот и все тут, брате Алексею! Плохо!

— Плохо, Никита! Видно, на то воля божия! А все-таки тебе спасибо, бог тебе заплатит за твое старание.

— Да я выйду за Алексея, — почти закричала Марина, — я скажу перед народом, что...

— Ов-ва! Опять свое. Что ты скажешь? Ну что? Сама заварила кашу да хочешь и расхле-

бать... Не до поросят свинье, когда ее смалят (палят).. Молчала б лучше, да богу молилась... Прощай, Алексей!

— Куда ты?

— Так, скучно, брате, хоть в воду броситься, скучно! Целый день поил дураков, а сам ни капли в рот не брал; кутну с досады...

— Не ходи, Никита, потолкуй с нами.

— С вами теперь толковать, что воду толочь — только устанешь; и вам веселее вдвоем, наговоритесь, пока есть время.

— Куда же ты?

— Поеду с горя к Варке в шинок!..

— Что ж тебе за горе?

— Грех спрашивать, брате Алексею! Разве мне не жалко тебя? Черт вас знает, за что я полюбил вас, сам не доберу толку! Еще тебя куда ни шло, ты человек с характером, а то и ее полюбил... кто-нибудь подслушает, смеяться станет, а ей-богу, полюбил! Будь она казак, я плюнул бы на нее, она дрянь-казак, неженка, а для бабы — молодец баба, характерная баба! Вот что!.. Как вспомню про вас про обоих, тошно станет, словно не ел трое суток... Прощайте! Тяжело на душе; разве успокоюсь,

как... как похороню вас... — Никита махнул рукой и вышел.

XIV

*Тільки бог святий знає,
Що Хмельницький думає, гадає.*

Малороссийская народная дума

Встало утро, тихое, светлое, радостное, на востоке показалось солнце, и навстречу ему поднялись жаворонки с широкой степи, взвились высоко под чистое небо, запели звонкую приветственную песню; в садах отозвалась кукушка, засвистела иволга; белый аист, дремавший над гнездом на кровле хаты, закинул за спину голову и, громко щелкая носом, медленно приподнял ее и опустил до самого гнезда, будто приветствуя этим наступающий день, потом распустил свои широкие белые крылья, приподнял их кверху, словно руки, и плавно отделился от крыши вольными кругами, подымаясь все выше и выше, с любовью посматривая на землю, на детей своих, протянувших к нему из гнезда шеи. Был весел божий мир, а в Сечи нерадостно

встречали светлое утро, смутно, угрюмо сходился народ на площадь; на площади прохаживался рябой узкоглазый татарин, в красной рубахе с короткими рукавами, в красной шапке; лицо татарина было бледно, измучено, но жилистые руки легко поворачивали, играли топором. По временам татарин дышал на светлое, острое его лезвие и внимательно смотрел, как сбегало с него легкое облачко, навеянное дыханием, или осторожно трогал пальцем острие, причем злая, мгновенная, неуловимая улыбка быстро мелькала на узких, плотно сжатых губах мусульманина. Казаки с презрением отворачивались от татарина, даже скидывали и бросали на землю жупаны, до которых он случайно дотрагивался.

Перед тюрьмою вилась и щебетала вчерашняя ласточка; как и вчера, тихо колебалась на крыше одинокая травка, в тюрьме Алексей и Марина стояли на коленях перед иконою и молча слушали наставления священника. Но вот послышался на площади глухой гром литавр.

— Пора, дети! — кротко сказал священник. — Готовы ли вы?

Заключенные взглянули друг на друга, потом на образ, перекрестились, крепко обнялись и тихо вышли из тюрьмы за священником, четыре вооруженные казака шли за ними. Кругом бесчувственно глядели суровые лица запорожцев, порою с сожалением кивал в толпе черный чуб, порою скатывалась по седым усам старика блестящая слеза, но старик сейчас же спешил сказать «Экие овода! Хватил за ухо, словно собака, даже слезы покатились».

Перед церковью Покрова Алексей и Марина упали ниц, молясь со слезами, потом встали, отерли слезы и бодро, смело подошли к подмосткам, на которых стоял страшный татарин, с топором в руках, в красной рубахе.

— Христианские души! — замечали в толпе.

— Характерные души! — говорили другие. Площадь была битком набита народом; некуда было яблоку упасть, как говорил Никита. Против подмосток, где был палач-татарин, стоял на возвышении кошевой, окруженный старшими; в толпе народа, у самых подмосток, был Никита Глядя на Никиту, можно бы-

ло подумать, что он для бодрости в таком печальном случае спозаранку был пьян. Он стоял как-то странно, переминаясь с ноги на ногу, точно школьник, поставленный человеком-любивым педагогом на горюх на колени; его глаза страшно сверкали и хлопали, он по временам, наклоняясь к своему товарищу, закутанному в кобеняк (плащ с капюшоном), тайношвенно шептался, громко кашлял и самодовольно опускал руки в бесконечные карманы своих широких шаровар.

Осужденные, подошед к подмосткам, низко поклонились кошевому и всему народу. Перед ними была маленькая площадка. В это время Никита значительно посмотрел на своего товарища, закутанного в кобеняк, мигнул ему усом и наконец толкнул локтем под бок; товарищ стоял, как статуя.

— Вот, братцы... — начал было Никита, но вдруг замолк: его молчаливый товарищ ровным шагом выступил на площадку, поклонился народу, снял шапку и спустил с плеч кобеняк. Народ с ужасом подался в стороны: на площадке стояла женщина.

— Урожай на баб в это лето! — заметил

кто-то в толпе.

Бледная, дрожащая стояла эта женщина, распустив по плечам длинные каштановые косы, тихо повела глазами над площадью и остановилась на Алексее. Вмиг щеки ее вспыхнули, глаза заблестали, руки вытянулись, и твердым голосом сказала она «Волею или неволею я возьму у смерти Алексея-поповича; пускай на меня падут грехи его, я отвечу за них богу. Алексей! Обними меня, жену твою».

— Ай да Татьяна! — сказал в толпе молодой казак И все утихло.

В какой-то торжественной красоте стояла перед Алексеем Татьяна, сознав в душе всю цену своей заслуги перед любимым человеком, ее глаза блестели, щеки горели, полная, круглая грудь высоко подымалась.

Алексей молчал, толпа притаила дыхание.

— Хочешь ли ты, вместо плахи, обручиться со мною? — спросила Татьяна; но уже голос ее дрожал, прежняя бледность быстро сгоняла с лица румянец.

Алексей поглядел на Татьяну, подал Марине руку — и твердо вошел на подмости. Ни-

кита плюнул и махнул обеими руками; Татьяна, шатаясь, упала на землю.

— Молодец! Отказался! — раздавалось в толпе. — Характерно, черт возьми! И поганая Татьяна хотела его взять мужем! Хотела извести добрую душу! Вон ее, скверную бабу! Гоните ее палками, коли не хочет прогуляться между небом и землею...

И с насмешками и толчками толпа передавала с рук на руки Татьяну. На площади поднялся шум и говор. Уж не видно стало Татьяны, а толпа все еще волновалась и только замолкла, когда кошевой взмахнул булавою.

— Тише! — раздалось в толпе. — Кошевой просит слова

— Войсковый писарь Алексей-попович нарушил законы нашего товариства, — сказал кошевой, — это ведомо?

— Ведомо, ведомо!

— Старшины войсковые и рада присудила его, Алексея, с его искусителем, Мариною, лишить живота, хоть Алексей и верно служил войску и ни в какие художества не мешался — да закон велит.

Народ молчал.

— Что же вы, паны товариство, согласны?

— Делать нечего, коли закон велит, — угрюмо отвечали казаки.

— Хорошо, хлопцы! Знаменитые лыцари вы есте! Закон прежде всего, а там уже прочее. Зачем же мы до сих пор беззаконно поступали с нашим войсковым писарем? Даже сам я, каюсь в грехе своем, и я поступил беззаконно.

— Не знаем, батьку.

— А я так знаю. Не следует ли всякому человеку нашего товариства давать благородное лыцарское прозвище?

— Следует, следует! Как же без этого?

— Сами говорите; а какое достойное лыцарское прозвище дали вы своему собрату Алексею-поповичу?

— Какое?.. Какое?.. Известно какое — попович.

— Ведь с этим прозвищем приехал он из гетманщины; да это не прозвище: мало ли у нас есть поповичей, а все они титулуются полыцарски: вот перед нами Лапоть, вот Чубарый.

— Вот и я, Максим-попович из Чигири-

на, — отозвался один казак, — а зовут меня Недоедком, и за то спасибо.

— Тши!..

— Не шикайте, братцы! — продолжал кошевой. — Не перебивайте хорошей речи вольного казака; казак волен говорить толковые речи. Так вот вам и Недоедок, вот Брехун, вот Бродяга, а все они суть поповичи! И как любо им носить добрые имена, и, посмотрите, как весело глядит на них солнце, оттого что они законно живут на свете.

— Правда, правда.

— Сами знаете, братцы, что правда; вы народ разумный — а промахнулись, не дали имени храброму казаку; за то, может быть, бог карает его и нас вместе, отнимая у Сечи характерного человека.

— А может, и так?.. — сказал кто-то в толпе.

— Именно так, дело ясное! — почти вскрикнул Никита и за ним несколько голосов.

— За что ж мы обидели христианскую душу, — продолжал кошевой, — не дали запорожского имени лыцарю-товарищу? Без име-

ни овца — баран, говорят мудрецы...

— Баран, батьку, баран!..

— Как же явится на тот свет добрый казак без законного прозвища? Грех нам всем, великий грех! Готовились к набегу на Крым и забыли закон исполнить.

— Виноваты, батьку! Что ж нам делать?

— Дадим ему хоть теперь доброе имя, снимем грех с души.

— Добре, батьку! Добре — дельно сказано! Какое же ему имя дать?

— Вот послушайте, братцы, моей рады (совета). Вам известно, что Алексей-попович сам хотел умереть за наше войско, просил, чтоб его бросили в море, лишь бы спасти наши чайки, а с чайками, известно, и наши головы — исповедовал перед богом, морем и нами, старшинами-товарищами, свои грехи, умилостивил бога своими молитвами и тем спас наши чайки. Многим из нас не стоять бы на площади, не думать бы о Сечи и о михайликах без заступления Алексея.

— Повек не забудем этого! — громко закричали казаки.

— И хорошо делаете. Так не назвать ли

Алексея-поповича, в память избавления чаек, Чайковским? Как вы думаете?

— Ты нам, батьку, голова, ты думаешь, и мы думаем; быть ему Чайковским!

Громкое «ура!» отозвалось на площади; шапки полетели кверху...

— Итак, — продолжал кошевой, поднимая булаву, от чего народные крики утихли, — отныне впредь никто не смеет под смертную казнь иначе называть бывшего Алексея-поповича, как Алексеем Чайковским. Слышите, храбрые лыцари?

— Чуем, батьку! Никто не смеет!..

— Теперь на прощанье не спеть ли нам, братцы, Алексею Чайковскому песню про Алексея-поповича? Пускай человек в последний раз услышит наш казацкий, лыцарский напев про свои добрые дела для нашего воинства!

Хорошо, братцы?

— Добре, добре! — кричали казаки. — Начинай, Данило.

И Данило кобзарь чистым ровным тенором затянул:

На Чорному морі, на білому

*камні,
Ясенький сокіл жалібно кви-
лить, проквіляє.*

Мало-помалу окружающие принимали участие в песне, и под конец вся площадь слилась в один звучный, дикий, но стройный хор. Песня, видимо, разжалобила запорожцев...

— Жалко доброго казака! — сказал будто сам себе кошевой, когда казаки окончили песню и стояли в каком-то раздумье.

— Жалко, жалко! — Со всех сторон отозвалось в народе. — Жалко, а делать нечего, когда законно...

— Еще, хлопцы, я прошу у вас одной рады: войсковый писарь Алексей Чайковский хочет жениться на дочери лубенского полковника Ивана. Полковник Иван сдурел на старости и было призадумался, да его дочка лучше знает, что такое запорожский лыцарь, бросила отца и пришла в Сечь просить у товариства благословения!.. Согласны вы на это?

Казаки в недоумении молчали.

— Знаю, братцы, — продолжал кошевой, — вам жалко лишиться такой характерной ду-

ши, как Алексей Чайковский, но надобно ему заплатить за услугу. Он обещается всегда помогать нам на войне и детей своих пришлет служить на славное Запорожье.

Козаки любили Алексея и уважали за личную храбрость и неуклонный характер, а потому с радостью согласились на его свадьбу.

— Ай да собака наш кошевой! — кричал Никита, размахисто толкая товарищей. — Выкинул штуку!

— Штука! — говорил народ. — И справедливо, и законно, и весело!..

— А для чего ж я привез татарина? — спросил угрюмо седой казак.

— Чтоб казнить Алексея-поповича, — отвечал строго кошевой, — найди его и прикажи казнить.

— Да, найди его, Дмитро, — кричали старику казаки, — и пускай его казнят! — Вот штука!.. Ей-богу, штука!

— Смерть Алексею-поповичу и многая лета Алексею Чайковскому! — гремела толпа, ломая подмости и торжественно уводя Алексея и Марину к церкви Покрова.

— Бейте для потехи поганого татарина!

Подмостки рухнули, и долго еще было видно между досками тело татарина, одетое в красную рубаху, когда народ отошел и окружил церковь, в которой венчали Алексея Чайковского с Мариною.

После венца сейчас же выпроводили новобрачных за ворота Сечи: там старшины простились с Чайковским; кошевой подарил ему пару добрых коней и порядочный мешок дукатов, советовал ехать на зимовник старого Касьяна и там ждать вестей от полковника, обещался приехать к ним на свадьбу в гетманщину и быть посаженным отцом.

Случалось ли вам видеть страшный сон? Не то будто вы проиграли пульку в преферанс, или вас оклеветал ближний, или вам подали холодного супу, или смазливенькое личико, давши вам слово танцевать, отказалось и пошло с мягкими бархатными усиками, а вы для *vis-a-vis* полчаса гуляли по зале с каким-то привидением — или будто вы в театре, где играют нестерпимую нелепицу: перед вами на сцене русский мужик, бородач, широковещательно перелагает на россий-

ский диалект De officiis Цицерона и машет руками и горячится, как в старину сам оный пресловутый вития перед романским народишком, а его жена в кокошнике, в сарафане и французских башмачках, попивая православный квасок, решает вопрос о Востоке лучше заморских газет и парламентов; вы хотите бежать, но двери заперты, никого не пускают, а между тем автор пьесы самодовольно глядит на вас из ложи и, улыбаясь, будто говорит: «Что, приятель, попался? Знай наших!». Согласен, это страшные виденья, невыносимые сны — но не о таком говорю я: нет, случилось ли вам видеть сон тяжкий, сокрушительный, убивающий ваш дух в самом существе его, сжимающий ваше сердце, открывающий перед вами одно отчаяние и безнадежность?.. Испытали ли вы радость при пробуждении от такого сна?.. Не правда ли, что эта радость не имеет ничего общего с другими нашими радостями? Перед нею бледны и бесцветны, как горящие свечи перед солнцем, лучшие минуты, украшающие вашу жизнь, и первые эполеты, и гармоническое «люблю», сказанное вам когда то очень благовоспитанною ба-

рышней, сказанное, может быть, потому, что ей очень хотелось сказать кому-нибудь это слово, и рукопожатие вашего начальника, и приглашение на обед к значительному лицу, и все прочие блага земли, которые в свое время сильно заставляли трепетать ваше сердце, не правда ли?

Если вы можете представить эту восхитительную, светлую, спокойную радость, это успокоительное сознание, что прошедшее — мечта, пустой сон, тогда вы приблизительно поймете состояние Алексея и Марины — я не берусь его описывать: есть минуты в жизни, есть чувства, ощущения, которые не подлежат никакому описанию, хоть они доступны почти всякому. Кто из нас не понимает вполне красоты и величия солнца и кто из прославленных живописцев изобразил его, хотя многие изображали, изображают и будут изображать?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

*Там родилась, гарцовала
Козацькая воля,
Там шляхтою, татарами
Засівала поле,
Засівала трупом поле,
Поки не остило
Лягла спочить а тим часом
Виросла могила.*

Т. Шевченко

*Cher amant,
J'ai vecu pour t'aimer, et je meurs en
t'fiman.*

*.....
Je les ai tous perdus... je n'ai plus qu'a
mourir.*

Gilbert [2]

Когда уехал кошевой и старшины, Алексей с Мариною, упав на колени, помолились богу, обнялись и поехали на зимовник старого Касьяна И вот они одни в чистой степи;

Сечь уже скрылась из виду; кругом зеленая пустыня — только земля да небо; по земле серебристою волною, словно море, лоснится ковыль, когда ветер слегка его заволнует; на небе горит одинокое солнце. Тихо, пусто... но нашим путешественникам степь не казалась пустынею: их души были полны внутреннею жизнью, сердца близко бились друг подле друга; им улыбался божий мир, и они улыбались, глядя на него, и, останавливая друг на друге взоры, пожимали руки, как бы стараясь увериться, не сон ли это? Счастье было слишком велико, слишком неожиданно..

На далеком горизонте показалась черная точка; она, казалось, не росла, не умахалась, не двигалась в стороны.

— Уж не враг (враг) ли это? — сказал Алексей. — Только быть не может.

— Куст или камень, — отвечала Марина.

— Сколько я помню, здесь неоткуда взяться ни кусту, ни камню. Впрочем, посмотрим, — прибавил Алексей, остановил коня, поднес к глазам нагайку и, прищуря левый глаз, долго смотрел вдаль правым через нагайку.

— А что? — спросила Марина, когда Алексей, опуская нагайку, сомнительно пожал плечами.

— Не приберу толку что, а что-то живое; как ни прицелюсь верно нагайкою — сходит немного в стороны с нагайки. Отчего ж оно не едет к нам, не уходит от нас?

— Может быть, орел теревит зайца.

— Похоже на это; приедем ближе, увидим. Чем более подъезжали они к незнакомому предмету, тем более точка увеличивалась, яснее обозначались формы предмета, и скоро легко можно было различить стоящую лошадь и возле нее в тыл человека, припавшего над чем-то на колени. Человек был в одних шароварах и рубахе; куртка и черкеска лежали в стороне, брошенные на траву, засучив рукава по локоть, казалось, он что-то связывал или развязывал и так был занят, что не слышал, когда его лошадь, завидя сторонних, чутко выпрямила уши, вытянула шею и заржала вполголоса; он тогда только обернул свою голову, когда Алексей был от него в двух шагах.

— Никита! — закричал Алексей.

— Да, Никита! Хорошо тебе говорить! Посмотри, вот твоя работа. — При этом он встал, держа в руках окровавленный нож, и показал им на лежавшую мертвую женщину.

— Бедная Татьяна! Неужели ты ее зарезал, Никита?

— По речам видно гетманца! Прямой запо-рожец не скажет этого. Никита турка режет, татарина режет, жида режет и всякую нехристь, а баб не станет резать; ты убил ее своими быстрыми очами, да черными бровями, да сладкою речью!.. Дура была покойница — и все тут... А подумаешь — и я дурак.

— Бог с тобою!..

— Бог со мною, всегда со мною, оттого, что я христианский лыцарь, а все-таки моя правда: глупо я сделал, что поехал к Варке в шинок; думал-то разумно, а вышло глупо — думал тебя спасти, Алексей, а погубил добрую бабу!.. Я, видишь, как услышал от панотца (священника), что есть способ тебя выволить от смерти, и поехал нарочно к Варке в шинок, отвел в сторону Татьяну и рассказал ей, в какой ты оказии находишься; гляжу, она побледнела, бедная, как полотно: верно, душою

почуяла близкий конец. Я вижу, что разжалобил Татьяну, и стал просить ее: спаси, де-скать, войскового писаря, коли меня любишь; через тебя, говорю, пропал старый писарь — пусть же через тебя молодой поживет на свете. Как кинется она мне на шею, как стала целовать меня, и говорит: я тебя теперь так люблю, Никита, как никогда не любила; ты мой и такой и этакой; я пойду на Сечь, вырву Алексея из рук смерти, ей-богу, вырву! И опять кинулась целовать, мне даже стало как-то немного беспокойно, что девка так меня любит, а будет твоей женой... Я кутил всю ночь, прикинулся пьяным, оставил в шинке все крымское золото, а спойл с ног и своего товарища Бурульку, и Варку, и ее племянниц, и после полуночи поехал домой; я подождал немного в долине, недалеко от балки (оврага), Татьяны; она скоро приехала ко мне на Бурулькиной лошади и в его кобеняке; мы поскакали и к утру были на площади у подмостков, где гулял неверный татарин, нахваляясь на твою крещеную голову. Что было после, ты сам знаешь. Эх, бедняжка! Вишь, как ее вытянуло! Жаль!.. Веселая была Татьяна!

— Зачем же теперь ты здесь? Что ты делал с нею?

— А что ж? Разве грех помочь христианской душе? Покойница хоть была баба, да все-таки христианка. Видит бог, как жалко мне стало, когда погнали ее хлопцы вон из Сечи, хоть я и смеялся над нею с другими и тюкал из политики, как на бешеную собаку. Хорошо еще, что на Сечи было много знакомых покойнице между молодыми казаками, те ее кое-как защитили: окружают, будто толкают, а сами все дальше да дальше выводят из Сечи, а то старики уколотили бы ее в смерть. Сначала бедная Татьяна шла пошатываясь, спотыкалась немного, отдувалась на стороны, ворочая головою, будто человек, только что вынырнувший из воды, а потом ничего, обошлась, попривыкла; кого и сама толкает, кого ругает, кому язык покажет, так что всех развеселила. Вывели мы ее за ворота Сечи и сказали. «Убирайся теперь на все четыре стороны, теперь твоя воля».

— Вот вам за труды, — сказала Татьяна и плюнула нам почти в глаза и побежала в степь.

Из политики нельзя никому было прово-
жать ее, да притом все торопились на пло-
щадь узнать, что там делается. А когда я уви-
дел, что дело пошло хорошо и тебя повели
венчать с Мариною, то и подумал: теперь
Чайковскому и черт не брат, разве одна с ним
беда будет — что баба повиснет на шее, а те-
перь, пока народ шумит и толпится возле
церкви, меня никто не заметит, поеду, прове-
даю Татьяну, сел на коня, махнул по свежему
следу, как собака за зайцем — и нашел ее
здесь.

— Мертвую?

— Как бы не мертвую! Живехонькую! Луч-
ше бы мертвую застал, а то сидит на траве, за-
думалась и смотрит на медный дукат, что ви-
сел у ней на шее вместе с крестиком.

— Здравствуй, Татьяна! — сказал я. — Жда-
ла меня?

— Здравствуй, Никита, — отвечала она, —
и не думала ждать!

— Вот тебе и раз! Зачем ты сидишь тут,
дурная баба?

— Бежала, Никита, — говорит она, — уста-
ла, очень устала, ноги подкосились, села от-

дохнуть А ты зачем тут ездешь, дурной казак?

— Вольному казаку никто не запретит ездить, где ему хочется. Я приехал тебя проведать, моя уточка, да привез тебе хорошую весточку: наш Алексей жив, здоров и тебе кланяется.

— Неужели? — закричала она — Вы отняли его у кошевого?.. Ай да молодцы запорожцы! Расскажи же поскорее, как это было

И где взялась сила у покойницы! Прежде ни жива ни мертва сидела, а то бойко вскочила на ноги, схватила за повод коня и кричит: «Рассказывай!» Я рассказывал ей все как было; оставил, говорю, их в церкви... Гляжу: выпустила Татьяна из рук повод, побледнела, опустила руки, вытянулась и смотрит на меня страшно, будто съесть хочет, а сама смеется...

— Что с тобой? — спросил я

— А! Старый дурень, — сказала она, — ты мне такие вести носишь?. Мой милый, мой Алексей венчается с другою а ты зачем здесь? Слушай песню:

Ты думаешь, дурню,

*Что я тебя люблю,
А я тебя, дурню,
Словами голублю!*

Понимаешь, Никита?.. Я думала, он умер. Жаль было, душа, болела, только и радовалась, что ни ей, ни мне не достался! А теперь... у!.. свадьба!.. свечи, гроб!.. Слышишь!.. поют!..

*Жук гуде,
Свадьба буде...*

Слышишь? Пойдем!

Тут она залилась слезами, а я догадался, что кругом дурак, что она тебя, Алексей, любила, а меня голубила словами, и, право, горько стало, не от того, прах ее возьми, чтоб я любил ее, как там паны любят в Польше, а с досады, что баба, да еще молодая, проводила меня. Лях не проводил, татарин не проводил, а провела баба!.. Приснится, так перекрестись!.. Немного поплакав, Татьяна заговорила со мною, да я ничего уже не понял, то кланялась тебе, то целовала крестик и медный дукат на шее, но, глядя на дукат, вспоминала свою матушку, просила у нее благосло-

вения, потом за пела свадебную песню, зата-нула высоко-высоко, я уж было и заслушался, вдруг остановилась, будто кто ей рот зажал рукою, и повалилась на землю, я к ней — не дышит, глаза открыты и не двигаются Что будешь делать?.. Вспомнил я, что в прошлом году в походе почти такая притча случилась с моим гнедком, совсем издыхал конь и ноги откидал; присоветовали люди пустить степную кровь — он и ожил. Не было со мною ланцета, я взял нож и кинул Татьяне степную кровь, как пошла кровь порядочно, гляжу, вздохнула Татьяна, повела глазами, посмотрела на меня и шепчет: «Прощай, Никита, кланяйся Алексею... Да сними с моей шеи и отдай ему этот медный дукат, в нем, говорят, много силы, он...» — да и не договорила... Богу душу отдала. Я уже и тру ее суконкою и водки лью в рот, ничто не помогает, холодна, как лед, вот что!

— Бедная Татьяна! — сказал Алексей. — Царство ей небесное, добрая была душа! Что же ты, Никита, станешь делать?

— Вырою саблю яму, прочитаю молитву да и похороню небогу (сердечную).

— И я помогу тебе

— А куда вы едете? — спросил Никита.

— На зимовник Касьяна

— Вот же что я тебе скажу: поезжай ты с женою своею дорогою, дорога тебе еще далекая: дай бог засветло добраться, не заморивши коней; а как со мною еще прстоишь час другой, то придется заночевать в поле; казаку-то в поле ночевать — здоровья набираться, да ты не один, с тобою такая птица, что подчас и росы боится. Поезжай, брате Алексею, пусть я один похороню Татьяну, у тебе есть теперь о чем заботиться. Прощай, Алексею! Да возьми дукат, что тебе отказала Татьяна.

— Бог с ним! Что она мне была? Ровно ничего. Зачем же я возьму дукат?

— Отдай его мне, Никита, — сказала Марина, — она мне родная, она любила моего Алексея, я буду носить ее подарок. Ты мне отдаешь его, Алексей?

— Бери, коли тебе хочется, мое золото, — говорил Алексей, надевая на шею Марины снурок с медною татарскою или турецкою монетою и глядя ей в очи, полные слез.

— Вишь, какие горлицы! — почти закри-

чал Никита. — Не пристало вам быть подле мертвого, убирайтесь отсюда! Прощайте! Да хранит вас бог и покроет от напастей святая наша Покрова!

Алексей и Марина простились с Никитой и быстро поскакали по степи, будто убегая от страшного зрелища смерти. Никита вынул из ножен саблю, перекрестился и начал рыть могилу, напевая вполголоса:

*Ветер веет, трава шумит,
В степи лежит казак убит,
Не для него ветер веет,
Не для него солнце греет,*

*На голову, покрытую
Зеленою ракитой,
Уж сел ворон, шумно кричит,
А верный конь у ног плачет*

*«Не кушанье, не мед готовь
Мне, матушка, а домик нов,
В нем три доски сосновые,
Четвертая кленовая!..»*

II

*Ой, гоп по вечері
Замикайте, діти, двері,
А ти, стара, не журиьсь,
Та до мене прихились.*

Т. Шевченко

*А девушке в семнадцать лет
Какая шапка не пристанет!*

А. Пушкин

И теперь, проезжая херсонские степи, вы часто можете видеть подобие запорожских зимовников, или хуторов, на которых жили женатые запорожцы. Та же ограда из камня, довольно неровная, потому что круглые валуны булыжника всегда неохотно ложатся друг подле друга и оставляют между собой отверстия, которые теперь иногда замазывают поселяне глиною: в старину они служили вместо амбразур; из них житель зимовника часто высматривал на степи друга и недруга и, в случае надобности, посылал недругу меткую пулю; и теперь подобная ого-

рожа часто украшается сверху густым венком из сухих ветвей колючего степного терновника, что в старину было непременно условием, и теперь многие избы сложены из камней, покрыты соломой или грубыми стволами степного бурьяна. Словом, кто видел полудикий херсонский хуторок, тот может иметь понятие о наружности зимовников запорожцев; только те часто бывали обширнее и в своей каменной ограде заключали или могли заключать все хозяйство, даже скирды хлеба и стада.

Уж был вечер, когда Чайковский с своею женою приехали на зимовник Касьяна и остановились у ворот. Казалось, нет в нем ни одной живой души. Словно крутая батарея стоял зимовник, обведенный высокою каменною стеною, часто утыканною сверху терновником; только собаки, почуя чужих, заливались за оградой.

—Отвори, дядюшка Касьян! — закричала Марина.

— Молчи, — сказал Алексей, — кто так говорит, да еще ночью, с запорожцем! Беду накличешь, слышь?

Точно, кто-то подошел изнутри к ограде; стая воробьев, дремавших на терновнике, вспорхнула; тихо щелкнул ружейный курок...

— Пугу, пугу! — закричал Алексей, приложив воронкою ко рту кулак.

— Пугу? — вопросительно пропел таинственный, невидимый голос за оградой.

— Казак с Лугу, — отвечал Алексей.

— И давно бы так! — сказал голос. — Хлопцы, отворяйте ворота, а коней повешайте там, где и наши (привяжите к яслям). Милости просим до хаты.

— Ваши головы, пане отамане и товариство, — говорил Алексей, входя с Мариною в хату.

— И мы ваши головы, ваши головы!.. Прошу сидаты, — отвечал хозяин. — Откуда бог несет? Хлопцы, дайте меду!. С дороги не худо выпить.

— А ты и не узнал меня, дядюшка Касьян? — сказала хозяину Марина.

— Так и есть! Он! Пари держу, что ты кричал у ворот, как баба. От тебя только и может это статья.

— Отгадал, дядюшка.

— Благодарю бога, что с тобой разумный товарищ и знает все наши поведенции, а то недалеко было бы тебе попробовать пули.

— За что?

— Еще и за что? Пожил на Сечи хоть немного, а ума ни крошки не набрался! Всякого народу бродит по степи: коли кто не откликнется по-нашему, так и не наш, а коли ночью ходит, так и неприятель, бей его, пока он тебя не убил. Благодарю своего товарища...

— Он мне не товарищ, а муж, дядюшка Касьян.

Старый Касьян молча уставил глаза на Марину, как бы не понимая, что должно ему делать, смеяться или сердиться за такую нелепую шутку, и пришел в ужас, когда Чайковский растолковал ему, в чем дело.

— Ах ты окаянная! — сурово говорил Касьян — Так ты провела мою седую чуприну (чуб), как теленка?.. Счастье ваше, что вы у меня в хате и отдали мне свои головы, а то я ведь сердит, очень сердит. Верно, все вы созданы для обмана... Как умерла покойница жена, вот и подумал: все кончено, отдыхай, Касьян, на старости: уж никто тебя больше не

станет обманывать — а тут нашлась другая. И не знал и не ведал, привязалась бог весть откуда на дороге и в круглые дураки записала. Срам подумать... Господи многомилостивый, — продолжал грустно Касьян, набожно смотря на образа, — прости мне, старому дурню, мое согрешение... За два дуката провел было я в родную Сечь страшного неприятеля, хуже ляха и татарина, злее турецкой чумы и крымской лихорадки... провел было окаянную бабу! Не знал я, господи, что оно такое, ей-богу, не знал... вот тебе крест!.. — Касьян перекрестился.

После молитвы Касьян успокоился. Марина начала у него просить прощения.

— Бог с тобою, я на тебя не сержусь; на себя сержусь я, что оплошал... Ну, да было, что было, верно, так богу угодно, прошло — и я забуду... Теперь мое дело уважать тебя: ты еси жена славного запорожца Чайковского; наш кошевой вас поважает и не забыл меня, старика: отправил ко мне в гости; спасибо ему, живите у меня, пока не соскучитесь. Вот вам мое слово.

Алексей и Марина бросились обнимать

Касьяна.

— Полно, полно, дети! Вы задушите старика, — говорил Касьян, отирая слезы, — вы добрый народ, бог вас возьми!.. Были и у меня дети, была жена... Нет детей, нет сыновей: один утонул под Азовом, другого сожгли ляхи, а третьего конь убил, свой конь... добрый был конь, а убил сына!.. Ни за что ни про что пропал человек!.. Вот пятый год жена умерла... и я один доживаю век с хлопцами... Спасибо вам, что приехали.

— Да ты, кажется, Касьян, не любил жены? — спросила Марина.

— Кто тебе сказал? Может, не любил, а может, и любил. Не все правда, что говорится, не все золото, что блестит... Не любил! А какой же нечистый заставил бы меня жениться?.. Я не пан какой, меня никто не присилует против воли!.. А, много говорить, да нечего слушать, — сказал весело Касьян, махнув рукою, — вы, я чай, голодны с дороги. Гей! Кухарь, изготовь нам вечерю; у меня гости, я помолодел двадцатью годами, ей-богу!.. Вари до молока тетерю да мамалыгу до масла, а хлопцы пускай заварят знаменитую варенуху! Из-

вините, паны; вы, гетманцы, привыкли к вареникам, галушкам, панпушкам, буханцам и всяким лакомствам, а наши степные запорожские кушанья просты.

— Мы и сами, батьку, запорожцы, — сказал Чайковский.

— Добре, добре! Вот спасибо за правду. Зови меня, сынку, батьком; давно я не слышал этого имени... ей-богу, давно, мои дети!

Теперь многие, даже из моих земляков, очень хорошо знают и страсбургский пирог, и лимбургский сыр, и пьемонтские трюфели, и много других тому подобных вещей, правда, очень приятных — и, пари держу, станут в тупик при словах «тетеря», «мамалыга», «варенуха». Это старина! — скажут мне в ответ. Согласен; но мы знаем малейшие привычки древних греков и римлян, знаем, что последние любили жарить ветчину с медом и финиками, или что, пресытясь вкусным столом, они, *pour la bonne bouche*, кушали иногда живых рыбок. Зачем же презирать родную старину? Впрочем, я не обременю вас подробностями и скажу в коротких словах, что «тетеря» была род жидкой каши из ржаной муки,

на воде, молоке или на чем кто любил, «мамалыга» — род пудинга из маисовой муки: ее едят, пока горяча, с свежим коровьим маслом и нарезают ниткою; а «варенуха» — вареное вино с сухими плодами и пряными кореньями, нечто вроде глинтвейна.

За ужином старик Касьян развеселился и обещал, если чрез неделю не будет никаких вестей из Сечи, сам съездить в Лубны к полковнику Ивану и во что бы ни стало добиться от него ответа.

— А теперь выпьем еще по чарке варенухи, — продолжал Касьян, — да с дороги, может, кому и спать пора. — При этом он мигнул на Марину седым усом, прищуря левый глаз Марина покраснела.

— Вам никто не помешает спать, — говорил Касьян, — я вам отведу светелку моей покойницы; теперь хоть и с богом, почивайте, дети, на здоровье. Да нет, погодите.

Касьян вышел и скоро возвратился, держа в руках железный ключ, и, отдавая его Марине, сказал — Вот это ключ от скрыни (сундука), которая стоит в вашей светелке: отоприте ее и принаряжайся как знаешь: там лежат на-

ряды моей покойной жены, у нее были добрые наряды, и парчи много, и всякой всячины — не стыдно надеть полковничьей дочери.

— Не нужно, батьку; к чему ей? — говорил Алексей.

— Я и так привыкла, мне и так хорошо, — сказала

Марина.

— Молчите, дети! — вскрикнул Касьян. — В чужой монастырь со своим уставом не ходят; за мою хлеб-соль да еще станете спорить со мною!.. Разве мне будет весело смотреть, что у меня в гостях жена войскового нашего писаря ходит не в своей шкуре, переряженная, словно пьяный гость на свадьбе? Разве пристало христианке ходить в человеческом (мужском) платье, как поганой татарке, когда бог дал ей особое платье, законное платье? Нет, дочко, распоряжайся всем, что найдешь в сундуке; оно твое; на что оно мне? Не сдурею под старость, не стану носить ваших юбок! Все равно пропадет, моль съест... И не думайте мне перечить: завтра чтоб я не видел на твоей жене, Алексей, казацкого убранства;

не то с зимовника стоню! Ну, прощай! До завтра!

Наутро Марина чудно была хороша в новом наряде: плахта и запаска ярких цветов, перехваченные по талье красным шелковым поясом, прелестно обозначали ее стройный стан; под тонкою белою, вышитою шелком рубашкою вольно дрожала, волновалась крутая грудь; на голове был надет черный бархатный кораблик (род шапочки). На плечи накинула Марина легкий кунтуш из зеленого атласа, обшитый золотым позументом, посмотрелась в металлическое зеркальце, прибитое снутри на крышке сундука, и покраснела от удовольствия.

— Какая пышная пани! — сказал Алексей, крепко обнимая и целуя свою жену.

— Ей-богу, так! Вот так! — говорил Касьян, входя в светлицу. — Господи, какая красавица! И казачком ты была прехорошенькая, а казачкою вдвое похорошела!..

*Не спи, казак, во тьме ночной:
Чеченец ходит за рекой!..*

А. Пушкин

Ждали неделю — нет вестей; прождали еще два дня, и Касьян поехал в Лубны; выбрал доброго коня и легкое вооружение, то есть саблю да пару пистолетов, в гаман (кисет) насыпал мелкоизрезанных корешков роменского тютюну (табака), положил кусок стали, новый кремень и сухого трута, привязал за седлом небольшой мешочек поджаренного в масле пшена и поехал. Сборы запорожца недолги.

Теперь вы спокойно едете запорожскими степями по гладким широким дорогам, которые, в сухую погоду, лучше и покойнее всех шоссе в мире; вас беспокоят разве суслики, шныряющие беспрестанно поперек дороги, или великаны овода, которые, наскучив сновать на жару над лошадьми, залетают под тень коляски и, монотонно жужжа, садятся вам на нос. А в прежние времена не то было:

эти степи, никому не принадлежавшие, служили ареною беспрестанным боевым схваткам; тут наездничали, молодежествовали полудикие народы; в каждом овраге надобно было опасаться засады, в каждом кусте ракиты можно было подозревать скрытого врага, который, как змея ползая между травой, смотрит на вас зоркими очами и в тишине натягивает меткий лук или ведет за вами верное дуло винтовки, выжидая удобной минуты спустить курок.

Первый день Касьян ехал довольно весело, беззаботно, напевал под нос песенки, разговаривал с конем, иногда срывал молодые побеги катрану (дикого хрена), очень спокойно опускал поводья, аккуратно сдирал кожу с побега и ел, приговаривая: «Хороший катран; не дураки лошади, что так его любят...» К ночи Касьян, как опытный казак, принял свои меры: въехал в глубокую долину, ослабил немного подпруги и пустил коня пастись, но привязал наперед конец длинного ременного повода (чумбура) к своей руке, раскинул на траве бурку из овечьей шерсти, из предосторожности, чтоб не подползла какая гадина,

особливо тарантул, который по инстинкту боится овечьей шерсти, даже овечьего запаха, будто зная, что овцы очень любят кушать его собратий, и тихо вздремнул, даже не куря трубки, чтоб дымом не накликать беды на свою голову. Перед светом Касьян был уже на коне; но на этот раз что-то его беспокоило: часто он озирался, часто всматривался вдаль, часто, остановясь против ветра, расширял ноздри, нюхал воздух и пристально посматривал на росистую траву: видно было, что его душа чуяла недоброе. А кругом все было чисто, тихо; весело всходило солнышко; добрый конь схватывал мимоходом цветистые верхушки трав и прыскал, когда роса попадала ему в ноздри.

Касьян увидел в стороне измятую траву, слез с лошади, долго рассматривал траву, ворча «Так и есть, я так и думал», потом припал ухом к земле, послушал немного, сел на лошадь и, повороти ее круто налево, помчался, как стрела. Проскакав несколько верст, Касьян опять поехал по первому направлению довольно спокойно и около полудня только своротил направо и снова начал спокойно

оглядываться по сторонам. Уже вечерело, до Днепра оставалось недалеко, доброй езды до ночи — не больше, когда Касьян, ехавший крупною рысью, вдруг остановился, будто окаменел на месте, прилег на шею коня и внимательно смотрел на далекий, чуть видимый вдали курган. «Они! — сказал Касьян, слезая с коня и ведя его в поводу — Они, проклятые крымцы! Наши никогда по три человека не въезжают на курган, у нас один видит за троих, да теперь и гетманцам заказано кучкою въезжать для надзора Как бы поспеть вовремя!» Спустясь в длинный, глубокий овраг, может быть, бывший когда-нибудь руслом речки, впадавшей в Днепр, Касьян поехал вдоль оврага ровным шагом, но, сделав несколько верст, из предосторожности слез с коня, вышел, пригнувшись, из оврага, и, увидя невдалеке курган, пополз к нему, чтоб с высоты высмотреть неприятеля. Курган был покрыт густою, высокою травою, на вершине его стояли несколько низеньких кустов раки-ты. Как пресмыкающееся, полз между травою Касьян, бережно разводил в стороны руки, хватался ими за траву или упирался в землю

и, тихо шевеля всем телом, будто раскачивая лодку, подымался выше. Наконец, он всполз на самый верх кургана, оставалось только раздвинуть куст и осмотреть окрестность, уже Касьян поднял руки — и остановился, за-таил дыхание: за кустом послышался шорох, зашевелилась трава и, волнисто вытягиваясь, выползла из под ракиты страшная змея; увидя человека, она быстро подала назад свою голову, завилась в несколько колец, сердито сверкнула глазами и, раскрыв страшную пасть, протяжно зашипела; но, вероятно, боясь поднятых рук Касьяна, сильно отпрянула в сторону и заскользила, извиваясь, вниз по кургану. Когда скрылась незваная гостья, Касьян протянул к раките руки, но едва коснулся ветвей, они, будто по волшебному мановению, сами раздвинулись, и между ними явилась голова татарина, ее узкие глаза на расстоянии нескольких вершков прямо уставились против глаз Касьяна Татарин, в свою очередь, видно, заметивший издали конного Касьяна, опасался засады и тоже полз на курган высматривать неприятеля.

Несколько мгновений враги были непо-

движны, как бы обдумывая, что начать им, потом страшно обменялись взорами, проникнутыми глубокой ненавистью, лица их судорожно искривились, и вдруг, будто по команде, разом и Касьян и татарин схватили друг друга за горло, молча, не приподымаясь от земли, из опасения открыться врагам, сжали они друг друга жилистыми руками, но татарин был если не слабее, то легче Касьяна, оттого последний, осунувшись вниз, увлек за собой татарина, и они клубком скатились с кургана. Жестока была борьба их, без звука, без стога, они жали друг друга объятиями смерти, грызлись зубами, как свирепые звери, заходящее солнце по временам освещало то гладко выбритую голову татарина, то чубатую запорожца: они попеременно подымались кверху, каждый раз страшнее, ужаснее, облитые кровью, обрызганные пеною. Наконец, Касьяну удалось достать из-за сапога широкий нож: это положило конец борьбе.

«Сейчас смеркнется, — думал Касьян, отходя от зарезанного татарина и спускаясь в овраг, — враги конные раньше меня будут у Днепра, хоть я и конем поеду, да конь будет

еще стучать копытами по степи и меня выдаст. Плохо! Надобно заставить их прогуляться в другую сторону».

Потом наскоро, из своего кобеняка (плаща) и травы, сделал он куклу, привязал ее на седло, наклоня к луке, и, сорвав какое то крепкое колючее растение, положил под седло прямо на голую спину лошади, проворно подтянул подпруги и в то же время ударил ее нагайкой, примолвя: «Прощай, добрый конь! Вряд ли увидимся». Горячий конь прянул и, чуя боль на спине от колючей ветки, помчался, как птица, в степь по дороге к своему зимовнику. Долго скакал одиноко быстрый конь все шибче и шибче, беспрестанно понукаемый колючкою, и уже стал теряться в горизонте, как слева мелькнуло ему наперерез что-то как муха, потом еще, еще — и целая стая крымцев вытянулась в погоню, словно борзые собаки за зайцем. Увидя, это, Касьян улыбнулся, махнул рукою и, спустясь в овраг, быстрым шагом пошел, почти побежал к Днепру.

Была уже глубокая ночь, когда Касьян, измученный быстрою ходьбою, пришел к Днепру, напился, освежил лицо и голову студе-

ною водою и тихо пошел по берегу, чтоб немного отдохнуть и, выбрав удобное место против фигуры, переплыть реку. Все было тихо; ночь безлунная, но звездная; за рекою, на широких лугах, перекликались коростели; порою сонная рыба, поворачиваясь, всплескивала хвостом воду, да лягушки, испуганные шагами Касьяна, прыгая с обрывистого берега в реку, нарушали общее молчание. Когда все стихло, один только Днепр плескался своими вечными волнами. В воздухе разливалось благоухание от душистых грав, с которых крупным дождем валилась роса на Касьяна, когда он раздвигал, разрывал их, идя по берегу; но вот на противоположном берегу затемнело что-то, будто колокольня. «Фигура!» — сказал Касьян и поплыл на ту сторону.

На границе гетманщины, вдоль по левому берегу Днепра, начиная от устья Орели до Конки-реки (Конские Воды), построены были около самой воды заезжие дворы, называемые радутами; дворы были обнесены крепким частоколом; внутри находилось просторное здание для людей, крытое соломою или тростником, и конюшни: в каждом радуте по-

мещалось пятьдесят человек гетманских казаков с есаулом, которые составляли пограничную стражу и ежегодно сменялись. Редуты всегда строились так, чтоб из одного было видно другой, и были один от другого, судя по местоположению, верстах в двадцати, десяти и даже менее. Около каждого радута, не ближе четверти версты, иногда немного и далее, в осторожность от огня, были фигуры, сложенные в виде башен или колоколен из смоляных бочек; для этого поливали землю смолою и ставили перпендикулярно шесть смоляных бочек одну около другой и связывали крепко высмоленными веревками, наблюдая, чтоб внутри образовалась правильная круглая пустота вроде чана; на этот круг ставили другой такой же точно, только из пяти бочек, сверху третий круг из трех бочек, на этот прибавляли еще две, а на самый верх ставили, как трубу на самовар, одну пустую бочку, не имевшую ни нижнего, ни верхнего дна. В этой бочке была сделана перекладина из железного прута, а через перекладину был перекинут канат, которого оба конца спускались до земли; к одному из концов привязывался

большой пук мочалки, вываренной в селитре и напитанной разными горючими веществами. У фигуры находилось бесценно два или три человека часовых.

Если вы проводили когда-нибудь бессонные ночи не за картами, не за бокалом, не в шумных танцах, где оглушающий гром оркестра или женщины, то сверкающие, жгучие, как солнце, то отрадные, томные, как свет луны, заставляют противоестественно биться ваше сердце и забывать весь мир, кроме одного бурного чувства наслаждения; если вы проводили бессонные ночи в уединении, лицом к лицу с природою, то, верно, заметили, верно, помните чудесный предрассветный час, когда, будто чуя близкий конец свой, ночь усиливает обаяние, становится еще темнее; все в природе затихает: ни звука, ни шороха, даже вода льется вяло, словно в дремоте; на всех тварей налегает неодолимый сон, ночные птицы не летают в это время, лошади перестают есть, дремлют, опустив голову, или даже ложатся.

В такой предрассветный час вышел Касьян на берег, около фигуры. Кругом была гро-

боявая тишина; коростели не перекликались, лягушки не прыгали в воду, рыба не плескалась. Мрачно черная, высилась на темном небе фигура; два казака спали под фигуру; недалеко три лошади лежали, словно убитые, откинув ноги, вытянув шеи; сторожевой казак в четверугольной гетманской шапке, опершись на мушкет (ружье), вздремнул и — не заметил Касьяна.

— Добривечор! — крикнул Касьян, подходя к часовому.

Часовой вздрогнул, подался назад и выстрелил по Касьяну. Выстрел отгрянул рекою, далекое эхо наперехват стало повторять его по рощам и заливам, дым покрыл Касьяна; лошади вскочили на ноги, казаки из-под фигуры прибежали к товарищу.

— Да полно вам дурачиться, — говорил Касьян, подходя к казакам, — не узнали старого Касьяна!.. А еще казаки! Здоров ли Семен Михайлович? Ваш есаул Семен Михайлович Дижка?.. Что же вы оглохли?

— Да это в самом деле дядько Касьян, — говорили казаки.

— А то ж какой черт? Ну те-ка поворачивай!

вайтесь; нет ли у вас табаку понюхать?

— Есть, — отвечал один, — да и напугал ты нас!

— Добрый табак, будто свечкою в носу палит, — говорил Касьян, — а ты, брате часовой, просто дрянь, не стоишь десятой доли щепотки этого табаку; ей-богу, не стоишь; смешно сказать, дремлет на часах над мушкетом, будто баба над пряжею, да еще и стрелять не умеет: стрелял по мне в пяти шагах и тут повысил, только верх шапки распорол пулею... На, посмотри мою шапку, коли не веришь.

Во время этого разговора прискакал из радута с несколькими казаками есаул.

— Что здесь за шум? — строго спросил есаул.

— Ничего, пане есаул, — отвечал один казак, — запорожец с той стороны, а часовой обознался да и выстрелил.

— Добре сделал, хоть бы и не обознался; пускай нечистый не носит в такую пору; что такой за казак? Зачем он?

— Не сердись, Семен Михайлович! Я человек вам знакомый: уже два раза в это лето гостил у вас на радуте — разве не узнали Касья-

на?

— Здорово, старик! Что же ты плаваешь по ночам, словно русалка?

— Хотелось попробовать, как стреляют гетманцы; да не бойко стреляют, в пяти шагах промахнулись.

— Полно шутить.

— Сперва шутки, а там будет дело. Доставай-ка огниво да зажигай фигуру: крымцы за рекою.

— Ты видел?

— Не только видел, и силы пробовал, и коня через них лишился. Засветишь огонь, увидишь, как меня исцарапали, словно кошки... Насилу добрался до радуга, чтоб дать весть.

Есаул вырубил огня, положил трут в горсть сена, размахал его своими руками и, когда сено вспыхнуло, поджег мочалку, привязанную к веревке, и потянул веревку за другой конец: огненным снопом поднялась горящая мочалка кверху, толкаясь о бочки, и, осыпая фигуру искрами, вошла в пустую бочку на самом верху фигуры; в минуту верхняя бочка запылала, как из трубы, высоким столбом поднялось из нее яркое пламя, и быстро

загорелась вся фигура, великолепно отражаясь в темных водах Днепра. Через несколько минут недалеко влево загорелась другая фигура, вправо третья, за ней еще, и еще, и весь Днепр осветился зловещими огнями. Стаями поднялись испуганные птицы с заливов и тростников, наполняя воздух криками; стада диких коней, дремавшие у Днепра, шархнулись в степь, пробуждая далекую окрестность звонким топотом. Не один поселянин, застигнутый в лесу или в поле на ночлеге страшными фигурами, торопливо спешил домой спасти старуху мать, или молодую хозяйку, или малых детей от смерти или позорного плена татарского; не одна мать, с ужасом посматривая на зловещий пожар, робко прижимала к груди ребенка и босыми ногами, в одной сорочке, по жгучей крапиве, по колючему терновнику — пробиралась в непроходимую чащу леса; не одна девушка со страхом вспомнила о своей красоте, о своей молодости, трепеща сластолюбивого татарина... В ночь, когда горели фигуры, покойно спал разве бесчувственно пьяный человек.

Выпив чарку водки из рук есаула, Касьян

взял в ра-дуге доброго коня и поскакал в Лубны, завтракая дорогою куском черного хлеба. Назади полнеба было залито пожарным заревом фигур и по временам слышались выстрелы. Впереди расстилалась степь; но уже не мертвою пустыней лежала степь: то там, то в другом месте раздавались беспрестанные оклики; взошло солнце и осветило тревожную картину: у дороги чумаки, соорудив из тяжелых возов каре, выглядывали из него, как из крепости, сверкая стволами мушкетов и винтовок, без которых тогда никто не отлучался из дому; крестьяне быстро угоняли из степи в села стада волов и табуны коней; заставляли въезд в деревни рогатками, прятали в землю всякое добро и хлеб, завязывали в кожаные мешки, заколачивали в бочонки деньги и опускали их в глубокие колодцы, в пруды и на дно речек; с мостов снимали доски и заводили лодки в непроходимые тростники.

— Далеко ли? — спрашивали люди Касьяна, когда он въезжал в село, покрытый пылью и потом.

— Вот, вот, за горою, — отвечал Касьян.

— А куда бог несет?

— В Лубны к полковнику. Перемените-ка мне коня, скачу по вашему делу.

— Бери хоть всех, дядьку!

Так переменяя коней, Касьян, можно сказать, летел день и ночь в Лубны. Тревога и удасть поездки помолодили Касьяна; он не чувствовал усталости, он не слышал на себе восьми десятков лет и, подъезжая к Лубнам, пел веселые песни.

IV

*Одарка мички не допряла,
Аж ось Харко у хату вбіг,
Під лаву кинув свій батіг:
«Вп'ять татарва на нас напала!»*

—
Він зопалу сказав.

С. Писаревський

— **Г**адюко! Гадюко!
— Чего, пане полковник?
— Скучно, Гадюко, очень скучно! Не знаю отчего.

— Может, объелся, пане.

— Умный человек, а говорит глупости.

Объелся! Какого я дьявола объелся? Ну, скажи на милость, чего б я объелся? Чего бы человек объелся, когда еще не обедал, а только завтракал?..

— Чего ж бы тебе скучать, пане? Житье хорошее, поступки твои все законные, рыцарские: чего ж бы скучать?

— В том-то и дело! Я тебя спрашиваю, а ты меня спрашиваешь. Это глупо.

— Кобзаря позвать разве?

— Кобзари божий люди, да из ума выжили — ни одной песни порядочной не знают.

— Выкричались.

— Как выкричались?

— Вот, примерно, взять бутылку и стать из нее наливать в стаканы вино или что другое: до времени из бутылки все льется вино, а вылилось, уже и не станет и не льется, хоть сожми бутылку обеими руками; тогда разумный человек принимается за другую. Так и кобзари пели песни, кричали, а теперь уже выкричали все и петь нечего.

— А что ты думаешь? Ведь оно так.

— Не нашему глупому разуму рассуждать, а может, и так.

— Так, так, Гадюко! А все-таки мне скучно. Веришь ли, чарка не идет в душу: взял чарку в рот сегодня, чуть не выплюнул, из политики только проглотил... Хоть дом подпалить от нечего делать.

— Эту потеху можно поберечь на дальше, а теперь не послушал ли бы, пан, сказки?

— Пожалуй, только лыцарскую сказку я готов слушать. Жаль, Герцик пошел на охоту; он много знает сказок... Жаль!

— Я знаю сказку, коли станешь слушать — расскажу...

— Что ж ты давно не говоришь? Говори! Хорошая у тебя сказка?

— Оно сказка не сказка, а быль; я не москаль, сам своего товару хвалить не стану; одно знаю, что Герцику не рассказать этой были.

— Не говори. Гадюко! Герцик очень разумен; у него сидит в носу муха, большая муха...

— Может, и не одна, — угрюмо заметил Гадюка.

— Полно ворчать! — сказал полковник Иван. — Прикажи часовому, чтоб стал у моей двери и никого не пускал; хоть бы кто при-

шел судиться или с жалобой — всем одно: полковник, мол, занят делами, бумаги подписывает. Да придвинь ко мне вот эту бутылку с наливкою и чарку, авось под сказку перестанет упрячиться да и пойдет тихомолком в горло. Ну, начинай!

— Жил-был, — начал Гадюка сказочным тоном, — один полковник, как бы и твоя милость, и стало скучно полковнику, нигде места не нагреет, ходит из комнаты в комнату, хлеба кусок не идет ему на душу, чарка не льется в горло, как бы...

— Что как бы? — спросил полковник, ставя на стол опорожненную чарку.

— Хотел сказать, как бы и твоей милости, да вижу, что чарки, благодаря бога, лезут к тебе в рот, словно вечером воробьи под крышу.

— А тебе завидно, собачий сын! На, выпей чарку да говори хорошенько, чтоб у тебя слова не летели, как воробьи из-под крыши.

— Хорошо сказано, — продолжал Гадюка, выпивая чарку, — теперь пойдут слова, словно молодые утки выплывают из тростника рядом за маткою. Вот сгрустнулось полковнику, и стал он от скуки рассматривать новое

ружьё, что купил недавно за так гроши (отнял) у какого-то не то ляха, не то немца.

— Молодец был полковник!

— Видно, молодец. Долго смотрел он на ружьё: на ружьё была хорошая оправка, серебряная; по серебру будто пером выведены люди, и звери, и казаки; головки у винтов коралловые, а прицельная мушка на стволе золотая.

— Не в оправе дело. А хорошо било оно?

— Не знаю; говорят, упало раз со стены, с гвоздя сорвалось, что ли, да прямо на бутылки с наливкою, бутылки с десять стояло внизу на полу — все сразу перебило.

— Хитро! А дурацкие речи, Гадюко!

— Статься может; не моя вина, за что купил, за то и продаю. Вот посмотрел полковник на ружьё да и захотел его попробовать от скуки; собрал сотню молодцов, сел на коня и молодцы сели, и поехали в Польшу погулять.

— Хорошо, Гадюко, добрая сказка.

— Не сказка, а быль.

— Один черт, что сказка, что быль.

— Один, пане, да не одной масти. Вот едут они в Польше густым лесом, а в лесу пахнет луком не луком, чесноком не чесноком, нехо-

рошо пахнет. «Ген, хлопцы, — сказал полковник, — чуете, ли вы, пахнет неверною костью?» — «Чуем, — отвечали молодцы, — жидом пахнет». Послали разъезд; разъезд вернулся и говорит: «С версту отсюда над рекою стоит местечко» — «Много народа? Большое местечко?» — спросил полковник. «Я лазил на дерево, — отвечал один разъездный казак, — и все высмотрел: местечко большое, и площадь есть, и костел, и лавки, а народу не заметил — все жида, словно в муравейнике; жид на жиде да жидом погоняет». После этого казаки слезли с лошадей, притаились в глубоком овраге и выжидали вечера, чтоб ударить на местечко.

— Молодцы!.. Уж не про Хвилона ли миргородского эта бьель?

— Может, про Хвилона, может, и нет; раз сказал я: за что купил, за то продаю.

— Хорошо, говори, да подай мне другую бутылъ; эта пуста, как наши кобзари: ничего нет нового! Добрая сказка! Самого забирает в лес, душе весело! Ну?

— Настал вечер, — продолжал Гадюка, — а это было в пятницу против субботы. Порань-

ше собрались жидаы домой, заперли лавки, пересчитали барыши впотъмах, чтоб никто не видел, и тогда уже зажгли свечи; у самого бедного горело свеч двадцать, хоть и тоненьких, маленьких, да двадцать — шутка ли?

— Неужели ты, Гадюко, веришь, что есть бедные жидаы? Откуда же взялась пословица: много денег, как у жида.

— Нет, у всякого жида много серебра и золота, а все-таки у одного меньше, у другого больше, вот последний и будет богаче.

— Так. Ну-ну? А казаки где?

— Дойдет и до казаков. Зажгли жидаы свечи — и в местечке стало светло, будто в праздник какой, а это было в постный день, в пятницу!..

— Слыхано ли!.. Нечестивые!

— Кроме того, что начинался шабаш, у жидаов было и другое веселье: в тот день они держались и стар и мал за райское яблоко.

— Врет твоя быль. Гадюко! Где бы они достали райское яблоко?

— Оно не райское: куда им до рая! А так называется. Приедет какой-нибудь жид в город, простой жид, как и все — в ермолке, в пейси-

ках, и называет себя не жидом, а хосегом, — это то у них старшой, — вот назовет себя хосетом, приехал, говорит, из Иерусалима, привез старые жидовские деньги и райское яблоко. Идет к нему каждый жид, дает деньги, подержится за яблоко и трет себе руками лоб: это, говорят, здорово; а женщины покупают у хосета старые деньги, словно полушки из желтой меди с дырочками, дают за полушку червонец и вешают детям на шею, чтоб лихорадка не пристала, что ли!

— Вот дурни!

— Известно. Вот в этот вечер пришел в свою поганую хату жид Борох, а у него лоб красный-красный — натер, говорит, яблоком, — пришел и сын, не то ребенок, не то человек, а так подлеток. Старуха, Рохля, жена Бороха, тоже была у хосета, купила старую полушку и нацепила ее на шею трехлетней дочке; дочка бегала вокруг стола, пела, кричала, а Борох с женою и сыном ужинали гугель, понашему лапшу, с шафраном, да рыбу с перцем, да редьку вареную в меду, а закусывали мацою, лепешками без всего, на одной воде, даже без соли.

— Фу! На них пропасть! Скверно едят!

— Оттого они жидаы. Едят они — а в окно как засветит разом, словно солнце взошло: пустили казаки красного петуха, зажгли местечко. Выстрел, другой, крик, шум, резня, звенят окна...

— Славно, Гадюко. Так их!

— Жидовский подросток выскочил из хаты, за ним старый Борох... только Борох не выскочил, упал назад в хату с разбитою головою к ногам Рохли, а в дверях показался казак: сабля наголо, шапка на правом ухе, усы кверху. Рохля упала на колени, схватила на руки маленькую дочку и стала просить и плакать: «Убей, говорит, меня, а не бей дочки, я все расскажу». Выслушал казак, где золото, набил полные карманы золотом, взял на руки жидовочку, а Рохлю так задел, выходя, саблею, что она тут же и растянулась.

— На что ж казаку маленькая жидовочка?

— У полковника между охочими казаками было человек пять запорожцев: дорогою пристали до компании, а запорожцам за детей хорошо платят оседлые, что живут на зимовниках; вот запорожец и взял дитя и про-

дал его за деньги, и слово лыцарское сдержал, не убил дитяти; ему же лучше.

— Лучше! Ну?..

— Вот казаки разграбили местечко, потешились, и вернулись домой, и давай гулять на чужие деньги; а сколько парчей навезли, а сколько бархату, а сукон, а позументов!

— Молодцы! Ей-богу, молодцы!.. И все тут? И конец?

— Конец-то конец, да еще есть маленький хвостик.

— Говори и хвостик. Что там за хвостик? У хорошего барана хвост лучше другой целой овцы. Недалеко, в Молдавии, по пуду хвосты весят, да какие жирные... даже мне есть захотелось, как вспомнил... Говори, говори!

— Казаки уехали, а Рохлю не взял нечистый: полежала до света, а светом и очуняла, ожила.

— Ожила?

— Ожила; они ведь словно кошки — умрет, совсем умрет; перетяни на другое место — оживет! Такая натура. Собрались жиды, которые уцелели, поплакали над пожарищем, да и стали попрекать Рохлю: «Ты, — го-

ворят, — продала казакам детей; сын поехал с ними: старый Иоська из-под моста видел, и одет, говорит, в казацкое платье, а дочь увез казак на лошади: это не один Иоська видел; да и дом твой не сожгли казаки, да и самую тебя не убили». Пошла Рохля к хосету, словно помешанная, и воет, и плачет, и шатается, а хосет уцелел где-то между бревнами; долго говорила с ним, да к вечеру и пропала.

— Ага! Околела?

— Нет, без вести пропала, из местечка пропала, исчезла, будто ее кто языком с земли слизал. Скоро после этого появилась за Днепром ворожея, знахарка, очень похожая на Рохлю, и стала шептать православным людям, и лечить православных, и кому ни пошепчет, кого на напоит зельями — все умирают, никто не выскочит, лоском ложатся, словно тараканы от мороза в московской избе. И много уже лет ходит она, изводит честной народ, приходит ночью на каждую свежую могилу и хохочет, окаянная, и веселые песни поет.

— Ух! Сила крестная с нами! Что ж ее не изведут-то?

— Попробуйте, пане. Где видано спорить с нечистою силою!.. А вот сын ее прикинулся христианином, зажил меж казаками, как наш Герцик.

— Не мешай Герцика! Я тебе раз сказал, не говори худо о Герцике; я знаю, все не любят Герцика оттого, что он мне верно служит, что я ему и отец, и мать, и родина, а это другим не нравится; другие рады продать полковника за люльку тютюну (трубку табаку), за чарку водки — вот что я раз сказал и не отступлюсь от слова, пускай на меня грянет гром, и сто тысяч бочонков чертей расципляют мою душу, как баба с курицы перья, если отступлюсь... Я сказал — и будет так! Мое слово крепко...

Полковник запил последнюю фразу чаркою настойки и быстро начал ходить по комнате. Гадюка замолчал, стоя у порога, и угрюмо смотрел исподлобья на полковника.

— Ну, что ж? — говорил полковник, садясь на кровать.

— Было из-за чего сердиться, — сказал Гадюка.

— Я не сердился, я только сказал, что я человек характерный — и все тут.

— И без того все это знают.

— И хорошо делают. Ну, что ж?

— Ничего. Моя быль хоть и кончена. Известно, может, и выдумка, а может, и правды зерно есть...

— Разумеется, сказка! Где же сын?

— Живет между казаками, морочит добрых людей; это еще бы ничего, а то говорят....

Но сказка Гадюки не кончилась: дверь в светлицу с шумом распахнулась, и часовой казак грянулся на пол, став на четвереньках перед кроватью полковника; за ним в дверях стоял вооруженный седой запорожец.

— Вот тебе, дурень, на орехи! — говорил запорожец, поглядывая на часового, который карабкался по полу, силясь встать. — Выдумал, дурень, не пускать запорожца к пану полковнику. Здоров, пане!

— А ты как смел входить, когда не приказано?

— А как смеет ходить ветер по полю? Небойсь, спрашивается у гетмана?.. А запорожец — родной брат ветру; я и к кошевому хожу, коли дело есть, не спрашиваясь; я не баба, не приду болтать о соседках. Дело есть, нуж-

ное дело — вот и все.

— Посмотрим, какое там дело! Посмотрим, Гадюко.

— Два дела есть у меня, — сказал Касьян. — Первое: вели скорее запирать ворота, вооружай людей — татары идут...

— Где они там у дьявола?

— До сих пор, чай, уже грабят твой полк. Вчера ночью они должны перебраться через Днепр.

— Не велика важность! — сказал полковник, вопросительно посмотрев на Гадюку. — Не видали мы этой дряни...

— Хорошо сказано, — отвечал Касьян, — так зачем же ты просил помощи у запорожского товариства и зачем я, дурак, скакал сюда, почитай, от самой Сечи, на переменных конях, по приказу кошевого Зборовского?

— А ты чего тут стоишь? — закричал полковник на часового — Ворона! Ступай на двор и вели трубить тревогу.

Казак вышел.

— Ну, коли ты от Зборовского и знаешь наши нужды, то спасибо тебе за весть, хотя она и не очень приятна. Да не оставляй нас,

погости; при обороне города один, говорят, за-
порожец в деле стоит десяти простых чело-
век.

— Дело известное! — отвечал Касьян. —
Теперь другое: кланяется тебе твоя дочь.

— Дочь? А она жива?

— Жива, и здорова, и...

— Ну, пойди сюда, обними меня, братику!
Слава богу, что жива она, а о ее бабских делах
расскажешь после: теперь надобно Лубны
спасать; слышишь, трубят тревогу!..

— Это по-нашему, по-запорожски, лыцар-
ские речи, пане полковник!

— А ты как думал, брате?.. — самодоволь-
но отвечал полковник. — И у нас души запо-
рожские!

И они вышли на широкий двор, где на
возвышении стоял трубач и трубил тревогу;
народ стекался отовсюду на двор.

Часто в Малороссии, проезжая степи вес-
ною, вы услышите пронзительный, отчаян-
ный вопль: «Татары йдут!» Осмотритесь — и
никого не увидите, кроме двух-трех мальчи-
ков, пасущих скот, вовсе не похожих на татар,
но в этом вопле так много грусти, отчаянья,

безнадежности, что он, верно, надолго останется у вас в памяти. Это последние отголоски тяжких, страшных воплей, оглашавших некогда села Малороссии, это крик, переданный от деда внуку, от отца или матери сыну; это вопль, потерявший уже все свое значение, перешедший в игру, в детскую забавку, но сохранивший в своей музыкальной стороне еще много правды; сердце ноет, замирает, слушая его: это новая, красноречивая строка из истории бедной стороны... Хотите знать, для чего кричат мальчишки: «Татары йдут»?

Всем известно, что муравей насекомое общежительное и трудолюбивое, об этом даже когда-то было напечатано в новейших российских прописях; известно также, что многие, узнав из новейших российских прописей о трудолюбии муравья, остались этим очень довольны и даже при случае говорят своим детям: «Будь трудолюбив, как муравей, и тебе дадут бонбошку, а со временем сделаешься значительным человеком», — а весьма немногие старались наблюдать жизнь этого умного насекомого, хоть она, право, занимательнее, разнообразнее, поучительнее жизни

весьма многих... Как бы выразиться понежнее?.. Многих... очень вкусно обедающих и просиживающих ночи за преферансом. Но не пугайтесь! Я не стану читать вам лекции инсектологии: мне бы только очень хотелось, чтоб вы в тихое, прекрасное весеннее утро посмотрели на муравейник, когда это маленькое царство покроется белыми личинками (подушками, как говорят в Малороссии). Муравьи инстинктивно чувствуют необходимость держать свои личинки, надежду на будущие силы муравейника, в сухости, и вот бережно выносят они из своих темных подземных коридоров беленькие подушечки, раскладывают их рядами против солнца и удаляются на работы, оставя возле каждой подушечки двух часовых, которые тихо сидят, будто неживые, сторожа свое со кровянице, малейший шум, легкая тень от перелетного облачка — и они тревожно хватаются за личинки. Деревенские мальчишки знают эту заботливость муравьев и, пася скот, иногда целый день, от скуки перебегают от муравейника к другому и пугают комашек, для этого они подбегают к муравейнику, наклоняются над ним

и громко в один голос кричат:

*Комашки, комашки,
Ховайте подушки —
Татары йдуть![3]*

Первые два стиха говорят каким то беглым речитативом, а третий поют громко, пронзительно И, боже мой! Какая суматоха подымается в муравейнике от этого крика, в секунду все черное поколение высыпает на ружу, караульные схватывают личинки, шум, бегот ня — и личинок будто не бывало, только некоторые муравьи бросаются из конца в конец муравейника, как бы стараясь узнать причину суматохи, другие таскают соломинки и этими бревнами заваливают входы в свои подземелья.

Вот причина крика «татары йдут!», если вы когда-нибудь его услышите теперь на степях Малороссии.

А в старину такое явление представляло почти каждое село от зловещего крика татары, идут, и Лубны очень были похожи на перепуганный муравейник Весть о близком набеге татар быстро разнеслась по городу кто

чистил оружие, кто делал патроны, кто натачивал саблю, кто сносил добро в церковь. А в церквях священники в полном облачении служили молебны, толпы женщин, упав на колени на церковный помост, громко молились и плакали, порою заходил туда казак, клал земной поклон, ставил свечку перед образом спасителя и поспешно выходил заняться своими работами. Гонцы скакали в окрестные села, из сел шли толпы народа защищать и прятаться в крепость, шли женщины, неся на руках грудных детей, гнали скот, громко шумел народ, бабы кричали, дети плакали, скот уныло ревел, бессмысленно посматривая на незнакомые улицы и дома. На Касьяна смотрел народ с каким то особенным уважением, как на запорожца, да еще бывшего вчера в схватке с крымцами. Полковник на коне беспрестанно скакал по улицам, за ним Герцик и Касьян. На валу зарядили пушки; поставили сторожевых, гармаши (пушкари) сидели на лафетах, к воротам навезли бревен и камней, чтоб на ночь завалить их, на валу в особенных земляные печах поставили котлы, наполнили их смолою и постным маслом,

подложили под них дров и сухого тростника, чтоб в случае нужды мигом вскипятить их и обдавать с валу крымцев. К вечеру все было готово; завалили ворота крепости, разложили на валу сторожевые огни, и полковник, измученный дневными трудами, пошел на минуту отдохнуть, приказав Герцику не спать до полуночи, а с полуночи разбудить себя. Герцик увел Касьяна в свою комнату, хоть старую, мрачную и с железными решетками, но ярко освещенную огнем, пылавшим в печке, там жарилась баранина и в кувшине варилась вкусная варенуха.

Приятно было старому Касьяну отдохнуть, и понежиться, и поесть, и подкрепить силы варенухой после тяжелой езды, добровольного поста, двух бессонных ночей и двух дней, проведенных в тревоге.

Касьян хоть был запорожец и лет двадцать-тридцать назад проплясал бы еще и эту ночь, однако лета взяли свое: после куска жирной баранины и нескольких чарок теплой варенухи на него нашла лень, истома, рука в плече заболела, ноги стали будто не свои, глаза поминутно слипались, и, наконец, он,

склонясь на лавку, захрапел молодецьким сном.

V

*«Бач, чортякэ! Бач, падлюка,
Як умудровався!
Се вже, бач, німецька штука!» —
Твардовський озвався.*

Гулак-Артемівський

*Зажурилася Хмельницького сідая
голова,
Що при йому ні сотників, ні
полковників нема.
Час приходить умирати,
Нікому поради дати.*

Народная малороссийская дума

Рассветало. Проснулся Касьян, потянулся, зевнул и, посмотрев на окно, проворчал: «Стар стал Касьян! Незаметно проспал до утра». В разбитое окно, через решетку, веяло утреннею свежестью; где-то недалеко слышен был шорох, будто от ходящего человека. Касьян подошел к окну; за окном узкий дворик,

огороженный высокой стеной; на дворике никого не было, только воробей, сидя на ветке какого-то сухого кустика, надувался, ерошил свои перья и встряхивался. За дверью опять слышались шаги. Касьян бегло взглянул по комнате — нет его оружия; подошел к двери — дверь заперта. Протяжно свистнул он и отошел.

— Штука! — ворчал Касьян, ходя по небольшой комнате. — Немецкая штука! Хитро, чтоб ему первую галушкой подавиться! Да и нехорошо как! Не приведи господи, нехорошо! Где это видно: зазвать гостя, упоить, отобрать оружие, да и запереть в клетку? Нехорошо! Что, я им дрозд какой, что ли? Перепел, что ли? Зачем меня держать в клетке?.. Дурень я, не догадался вчера, когда пришел в эту гадкую тюрьму, разбить было немецкому казаку голову, приговаривая: «Не води угощать в тюрьму вольного запорожца!» Так нет, поддался, старый дурак! Сам вошел, седой баран, в загорожу. Недаром этот перевертень так подбивался, подъезжал ко мне, словно парубок к смазливой девке, и о Чайковском спрашивал, и о Марине, и пил их здоровье,

будто они ему родня какая!.. Не догадался, просто не догадался! Что я ему за приятель? Правду говорят: коли человек больно тебя ни с того ни с сего ласкает, берегись: или он обманул или обмануть хочет...

За дверью опять слышались шаги. Касьян подошел к двери и сильно ее дернул — нет ответа, только снаружи загремел, застучал тяжелый замок.

— Эй, ты! Слушай, ты! Откликнись! Коли ходишь, так и говорить умеешь Кто там? Молчание

— Ну, что ж ты не отвечаешь? — продолжал Касьян — Языка нет? Верно, не человек ходит; это корова ходит.

— Врешь, не корова, а казак, — отвечал за дверью голос, обиженный неприличным сравнением.

— Всилу-то отозвался! Скажи мне на милость, что за комедию со мною играют! Зачем меня заперли сюда? Верно, боялись, чтоб я, в хмелю, не разорил вашего города? А?

Молчание.

— Да что же ты не говоришь? Отозвался было, как человек, — и замолчал, словно ры-

ба!

Молчание.

Касьян махнул рукою и начал ходить по комнате; подошел к окну, там опять только воробей весело прыгал по сухим веточкам чахлого кустика и, поворачивая кверху голову, отрывисто перекликался с товарищем, который отзывался где-то на кровле. Касьян плюнул — воробей улетел, все стало тихо.

— Жидовская птица! — сказал Касьян, отходя к своей постели, сел и задумался.

Бог знает, что думал Касьян; но верно не очень веселое, потому что, мурлыкая себе вполголоса, мало-помалу перешел в песню и запел известную в Малороссии трогательную думу о побеге трех братьев из Азова:

Из города из Азова не велики туманы подымались:

Три казака родных брата из тяжелья неволи убирались.

Двое конных, третий пеший вслед за братьями спешит;

По кореньям, по каменьям меньший брат босой бежит;

Ноги белые о камни посекает,

Кровью теплою следочки залива-

*ет,
Конных братьев догоняет
И словами промовляет:
«Станьте, братцы, быстрых ко-
ней попасите
И меня, меньшого, обождите».*

.....
С первых стихов заметил Касьян, что невидимый голос за дверью подтягивает ему; Касьян запел громче, начал выводить голо- сом трудные переходы — голос вторил ему верно. Касьян не выдержал и, не кончив пес- ни, закричал:

— Славно, брат! Ей-богу, славно! И голос у тебя хороший... Ты до конца знаешь эту пес- ню?

Голос умолк.

— Странный человек! — продолжал Ка- сьян. — Поет хорошо, а говорить не хочет.

— Говорить не хочет! — сказал сам себе казак вполголоса: — Рад бы говорить, да когда не велено!

— А! Вот что! Говорить не ведено, так петь, верно, можно, коли поешь. Ну, пой мне, я начну. И Касьян запел:

Ой на горе явор зелененький...

Скажи ты мне всю правду, казак молоденький:

За что меня невинного в тюрьму засадили?

Железным запором тюрьму затворили?

— Ну, что ж ты не поешь? — сказал Касьян.

Видно, часовому понравился разговор в новом вкусе: за дверью послышался тихий смех, прерываемый словами: «Сказано запорожец! Вот притча!»; потом смех немного успокоился, и часовой запел на тот же голос:

*За что тебя посадили, я того не
знаю;
Я так себе человек, моя хата с
краю.*

Касьян

*Да какому ж я обязан собакину
сыну,
Что не в поле, а в тюрьме, мо-
жет быть, загину?*

Казак

Ой, спит казак под горою; сабля

сбоку

*И мушкет, и конь пасется неда-
леко.*

*Пришли люди темной ночью по-
легоньку,*

*Обобрали казаченька потихонь-
ку:*

*Так пан велел, старшой велел, го-
ворили,*

*И казаченька в темницу затвори-
ли;*

*А темницу замком запер панский
чура*

*На нем платье казацкое, а нату-
ра...*

А натура не казачья, не..

— А в солому!.. Вишь как воет! — закричал за дверьми строгий голос. — Что ты, на улицу вышел?.. На вечерницах?

— Мне говорить запрещали, а петть не запрещали, так я и пою со скуки.

— Молчи! Петть не запрещали!.. Разговорился; я тебя проучу... Он спит?.. Не слышно?

— Нет, не спит, уже и пел песни.

— То-то, ты своими криками да воем хоть мертвого разбудишь... Не дал гостю успоко-

иться...

После этого загремели замки, заскрипела дверь, и послышались шаги под окном Касьяна; скоро он увидел между решеткою лицо Герцика.

— Здравствуй, дядюшка! Здравствуй старик! — говорил Герцик, улыбаясь.

Касьян молчал.

— Не сердись, храбрый запорожец, не сердись, лыцарь; не моя вина; видит бог, как я люблю тебя; уже за одно то люблю, что ты дал пристанище моему бедному другу Алексею! Что-то он теперь делает...

— Чего тебе хочется? Отвяжись от меня! — грубо сказал Касьян.

— Чего мне хочется? Ай, боже ж мой! Ничего мне не хочется; я всем доволен, по милости полковника. Славный человек полковник, только хитрый, подозрительный. Целый день вчера все отведет меня в сторону да и говорит: «Боюсь я, Герцик, этого запорожца; кто знает, может, он подослан крымцами, да им и ворота отопрет». — «Бог с вами, пане мой! — говорил я. — Такой ли это человек; да он и вашу дочку приберег у себя; да он и смотрит не

так». — «Нет, — говорит полковник, — мне не верится, чтоб и моя дочка была жива». И все такое неподобное... даже хотел пытаться тебя...

— Меня? — громко сказал Касьян. — Пытать запорожца?

— То-то и есть; а делать нечего: сила солому ломит!.. Всилу я упросил, чтоб тебя посадили в тюрьму.

— Вот за это спасибо! Видно, что добрый человек.

— Именно добрый. Не пугайся, Касьян, тебе будет хорошо: ты будешь и сыт, и пьян; а когда прогоним татар и полковник увидит, что ты прав, что у тебя нет с ними ничего, вот мы и поедем все к тебе на зимовник. Полковник простит дочку; она приедет сюда с мужем, и пойдут пиры да веселье! Ой, ой, ой! Что за пиры будут!.. Не скучай, Касьян! Не сердись на мене, я тебе добра желаю; да как выпустят, не говори полковнику, что я был у тебя: он очень подозрительный человек, и мне худо будет! Прощай, Касьян! Не сердись на меня, не скучай! — и есть, и пить принесут тебе вволю, отдыхай после дороги.

— А моя сабля где?

— Сабля у полковника, висит на стенке под образами! В почете твоя сабля, добрая сабля! Нельзя ли мне, пошалить твоею саблею с татарами? С лыцарскою саблей и сам станешь словно лыцарь.

— И не думай!.. — закричал Касьян. — До сих пор верно служила моя сабля, крестила головы неверных, не выкрошивалась; не притуплялась; до сих пор чужая рука не трогала ее — и не тронет; умру — завещаю положить ее в гроб со мною. Ты, может быть, и добрый человек; бог тебя знает, что у тебя на уме, только не трогай моей сабли, не обижай старика, да еще заключенного, не ссорься со мною.

— Сохрани меня боже, боже меня сохрани! — говорил уходя Герцик. — Прощай, дядюшка, не сердись; я полковнику передам твою волю: добрый казак любит саблю, как жену, больше жены, сто раз больше, тысячу раз... сто тысяч...

А между тем, при первых лучах солнца сторожевые казаки с крепостного вала заметили вдали большие клубы пыли, и вскоре показались на степи легкие отряды татар. Во-

оруженные казаки высыпали на вал; гармаши (пушкари) стали у пушек; известные, опытные стрелки, зарядив гаковницы (длинные крепостные ружья), навели их в поле и, припав за щитками, выжидали неприятеля. Татары наездничали, гарцовали, подскакивали к крепости, изредка пуская стрелы, которые, не долетая к цели, вонзались в землю. Казаки не стреляли. Несколько раз казаки просились у полковника из крепости погулять за валом и переведаться с татарами; но полковник угрюмо отвечал им: «Не пора!» или «Не спешите прежде отца в пекло (ад)» — и с нетерпением поглядывал на север. Еще вчера, сейчас по приезде Касьяна, полковник Иван послал гонца к полковнику прилуцкому просить помощи и приказ пирятинской сотне немедля явиться под Лубны: гонец не являлся, помощи не было, пирятинцы не шли. Татарские наездники стали смелее, начали ближе подъезжать к валу; но грянула с крепости гаковница, другая, третья, и они рассеялись, оставя на месте двух человек да коня; один лежал ничком, будто спал; другой, лежа кверху лицом, махал руками почти до полудня,

словно ветряная мельница, а раненый конь все силился подняться, становился на передние ноги и, сидя на задних, как собака, судорожно вытягивал длинную шею, глядя на крепость, так что страшно было смотреть на него; потом, шатаясь, падал и опять становился на передние ноги...

Настал полдень тихий, знойный. Татары, выехав из-под выстрелов крепостных орудий, стояли густыми толпами; над чистым полем плавал в небе большой коршун; распустив широкие крылья, вытянув ноги, вооруженные острыми когтями, медленно спускался он на трупы и, торопливо откидываясь в сторону, будто нехотя подымался кверху, когда раненый татарин быстро взмахивал руками. По полю труском бежала какая-то пестрая собака, опустив хвост, повеся голову и длинный высунутый язык; усталая, остановилась она перед трупами, кругом понюхала поле, завыла и, поджав хвост, бросилась бежать со всех ног. Полковник, отирая потные глаза, посмотривал на север — на севере никого не было — только чистая степь, раскаленная полуденным солнцем, да по степи, словно бегущие

стада белых овец, мелькал порою жаркий пар на далеком горизонте.

Герцик советовал полковнику сделать вылазку; полковник не соглашался, ожидая скорой помощи.

— На что вам, к чему вам помощь, когда вы сами великий рыцарь? — говорил Герцик. — Придет помощь, вы разобьете татар и все скажут: не сам разбил полковник Иван, люди помогли, еще, пожалуй, запоют песню, бабскую песню:

*Ой не сама пряла —
Кума помогала;
Дала куме миску пшена
И два куска сала...*

Бабская песня, а запоют ее на ваш счет — и вам будет совестно, и придраться будет не за что.

— А хотел бы я послушать, кто запоет?

— Язык без костей! Любая баба запоет — что вы ей скажете! Эту песню давно поют, не стать вам, пане, запрещать ее! Запретите, еще хуже, неподобное скажут про вас, про храброго рыцаря; и в Прилуках, и в Миргороде будут петь песню, коли в нашем полку побоятся... Я

вас люблю, пане мой, очень люблю, вот откуда берутся слова мои.

— Знаю, друже мой, знаю, братику Герцик, спасибо тебе; даст бог утихнет жар, я с ними переведаюсь, я докажу, что сам побью эту погань, без прилуцких дегтярей... хоть осторожность не мешает... А что запорожец?

— Сидит под караулом.

— И слава богу! Ты надоумил меня припрятать эту старую лисицу. Спасибо, брате, мне и в голову не пришло сначала, что это шпиг (лазутчик) от татар, наделали бы кисло во рту, если б оставили его на воле...

— Известно! Вы сами, пане, прежде об этом думали, да не хотели обижать лыцаря; вы сейчас и приказали, что думали...

— Экая голова у тебя, Герцик! — сказал самодовольный полковник. — Мысли мои даже знает...

— Я дрянь против вас, пане мой, а господь умудряет слепцов... И какую историю выдумал этот старик: будто покойница Марина — царство ей небесное — воскресла.

— Чудно и мне показалось это, да долг лыцарский не велел спрашивать о бабе... А

что, если она жива?

— О, боже ж мой! разве, пане, мертвые воскресают? Сам видел, как она взошла на подмости, сам видел... да я уже говорил вам... всилу ушел из Сечи, и меня казнили б, если б нашли, так разлютовались эти неверы!

— Не говори так, Герцик, — грустно сказал полковник, — они христианские лыцари, а хитры бывают и люты, словно волки... Не думал я пережить моей Марины; не сдержал слова покойнице жене..

— Что с воза упало, то пропало, пане мой. Что ж, если б и осталась в живых Марина?

— Видит бог, я бы отдал ее за Алексея. Я и тогда хотел это сделать, да бог его знает... как... Ну, да что говорить об этом! Выспрашивал ты вчера запорожца о моей дочке?

— Целый вечер. Да врет небылицы, старая лиса! Так, говорит, пришли, да и живут у меня — видимо путается в речах; он, живя на зимовнике, верно, не знал того, что вы знаете из письма кошевого и моих слов... а выдумал сказку, для большего почету думал, что вы баба — оттого, что они всех нас, гетманцев, считают бабами — и расплачетесь при весточке о

дочке и дадите ему волю делать что захочет для крымцев. Верно, получил от хана не один дукат...

— Так, так! Постой, собака! Управляюсь я с татарами, я научу его, как шутить с полковником Иваном. Что же он теперь? Ты его видел сегодня?

— Видел. Сильно загрустил, бьется об решетки, даже плачет...

— Пускай плачет, пускай плачет, от злости плачет! Понюхал пирога, да не удалось попробовать... А не худо бы и нам перекусить, Герцик.

Начало вечереть. Татары небольшими кучками стали разъезжать по полю перед крепостью; одна из них, побольше, подъехала довольно близко и окружила трупы товарищей; некоторые слезли с коней; казалось, хотели поднять и увезти мертвые тела. Гармаш прилег к пушке, приложил фитиль — и с крепостного вала грянул выстрел: ядро попало прямо в кучу; как живое серебро, разбрызнулись татары в стороны, оставя на месте еще нескольких товарищей и две длинные пики, воткнутые в землю, на пиках торчали только

что отрубленные казачьи головы; кровь струилась по длинным древкам; вечерний ветерок покачивал их, в стороны и веял черными чубами...

— На коней, хлопцы! — сказал полковник, заскрежетав от злости зубами. — Вот я им! А где Гадюка?

— Готовит ужин для пана, — отвечал Герцик, — да позвольте, я поеду за вами. На что вам Гадюка? Ждать долго...

— Пожалуй! Что это у тебя за перышко на шапке?

— Заговор (талисман) от пули и стрелы и всякого оружия, — отвечал Герцик, выезжая рядом с полковником из крепостных ворот.

Быстро понеслись казаки врассыпную на крымцев, и в минуту по всему полю завязалась жаркая схватка. Человек десять татар скакали прямо на полковника. Полковник с Герциком скакал на них. Шагах в двадцати от крымцев полковник выхватил из кобуры пистолет, спустил курок — вспышка; другой пистолет тоже не выстрелил; брося и этот на землю, полковник поднял руку, вооруженную тяжелою кривою саблей, сверкавшею в возду-

хе, как светлый рог молодого месяца, но в ту минуту две стрелы впились ему в грудь; полковник зашатался на седле, опустил поднятую саблю, а татары, схватя за поводье его лошадь и лошадь Герцика, поскакали в степь. Казаки бросились выручать своего начальника; но их было мало, а крымцы прибавлялись с каждою минутой, били казаков и теснили к крепости. Вдруг страшный вопль огласил поле: из крепости скакал чудный воин, на неоседланной и невзнузданной дикой лошади; быстро летел он, схватя ее за гриву и поворачивая жилистою рукою во все стороны, словно поводями; голова без шапки, нестриженная, небритая, нечесаная, ноги обнажены до колен, руки до локтей, в правой руке поднят тяжелый топор.

— Где вы дели, собаки, моего пана? — страшно кричал он, ринувшись в толпу татар. — Пане мой, пане мой! Здесь я, здесь Гадюка! — кричал он, быстро опуская направо и налево тяжелый топор, от которого, как снопы от бури, валились татары. Отбив раненого полковника, Гадюка перебросил его поперек коня и помчался в крепость; но вслед за ним

поскакали и Герцик и казаки, теснимые со всех сторон множеством крымцев. Уже были они у крепостных ворот, неся на плечах своих неприятеля, как с гиком ударила вбок пирятинская сотня; крымцы испугались засады, сбобели свежего войска и, преследуемые в свою очередь казаками, ускакали в степь, присоединяясь к своим обозам. Пирятинцы, распустив сотенные значки, вошли в крепость, приветствуемые народом. Вместо раненого полковника, принял над крепостью начальство пирятинский сотник.

Настала ночь. На далекой степи, словно звездочки, засветились сторожевые огоньки татар; на крепостном валу казаки удвоили стражу.

В своей опочивальне, на широкой кровати, покрытой до полу азиатским ковром, лежал полковник Иван, сильно страдая от ран.

Казак-знахарь (лекарь) осмотрел раны, перевязал их и покачал головою.

— Что? — спросил слабым голосом полковник.

— Ничего, пане полковник! — отвечал знахарь.

— Нет надежды? А?

— Богу все возможно...

— Оставь это... я не баба. А по-твоему как?.. Что?..

— По-моему, плохо.

Полковник покачал головою и тихо спросил:

— А Гадюка где?

— Лежит раненый, — отвечал Герцик.

— Худо! Останься со мною, Герцик; а вы все... Тут полковник махнул рукою — все вышли. Герцик запер дверь и подошел к полковнику.

— Слушай, Герцик, — говорил полковник, — расспроси этого запорожца о моей Марине... мне... мне все кажется, что жива она... Казаки не поймут меня, подумают, я без характера... а ты любишь меня, слушай: если это правда... если она... — И полковник начал шепотом говорить Герцику.

Наклонясь над полковником, Герцик долго слушал, вперив свои быстрые очи на умиравшего, и страшно улыбнулся. Когда умолк полковник, он с дикою радостью прошелся по комнате, подошел к кровати, наклонился к

лицу полковника, внимательно прислушивался и сказал: «Хорошо, пане, вам неприятен свет, я вас поворочу к стенке». Потом поворотил полковника лицом к стене, покрыл его синим походным плащом и, отойдя на середину комнаты, кашлянул и сказал довольно громко:

— Теперь хорошо, пане? А?

— Хорошо, — ответил полковник слабым шепотом.

— Хорошо, хорошо! — сказал Герцик. — Теперь я пойду исполню вашу волю, пане мой — слышите?

— Слышу.

Герцик вышел.

— А что? А что? — спрашивали Герцика старшины, бывшие в другой комнате.

— Ангельская душа! — отвечал Герцик со слезами на глазах — Он чует свой близкий конец и обо всех помнит.

— Неужели?

— Да; говорит, если я умру, Герцик, скажи, чтоб отдали пирятинскому сотнику моего черкесского коня Сивку..

— Добрый конь! — говорили старшины.

— Мне с ним и не управиться! — сказал сотник.

— А хорунжему Подметке, — продолжал Герцик, — мое старое ружье.

— Знает, что я охотник: добрая душа!

— Есаулу Нелейводу-Присядковскому — серебряную чарку.

— Упьюсь из этой чарки, — сказал Нелейвода-Присядковский, — ей-богу упьюсь!

— Есаулам Гопаку и Тропаку по паре красных сапогов с серебряными подковами...

— Спасибо, спасибо! — говорили Гопак и Тропак, — спасибо, дай бог ему..

— Здоровья? — лукаво спросил Герцик. — Что ж вы не кончаете?

— Известно, здоровья! — торопливо отвечали есаулы. — Мы от горя не договорили. Бог с ними и с подарками, лишь бы здоров был наш добрый начальник!

— Да, да, правда! Добрый начальник! Хороший человек! Дай бог ему всего, что мы ему желаем, — повторили хором остальные. — А тебе что, Герцик?

— Пока ничего; разве что вам скажет; велел вас позвать. А ты, Потап, — сказал Гер-

цик, обращаясь к часовому, — сходи сейчас в тюрьму, узнай о здоровье запорожца Касьяна: полковник, мол, велел; а оттуда забеги к священнику, попроси его сюда с дарами: полковник, мол, просит. Слышишь?

— Слышу, — отвечал казак, выходя за двери.

— Христианская душа! Благословенная душа! — тихо говорили старшины, входя в полковничью опочивальню.

— Оно? — шепотом спросил Подметка, указывая глазами и бровями на ружье, висевшее над кроватью полковника.

Герцик утвердительно кивнул головою.

Полковник лежал, оборотясь лицом к стене, и тяжело вздохнул, когда вошли старшины и стали почтительно у двери.

— Старшины пришли, — сказал вполголоса Герцик, наклоняясь к полковнику.

— Добре! — тихо отвечал полковник и что-то начал говорить вполголоса

— Полковник, уезжая на сражение сегодня, написал свою волю и запечатал ее войсковой печатью, а теперь просит на случай чего-нибудь нехорошего, чего боже сохра-

ни, — говорил Герцик, — просит всех старшин взять эту волю и исполнить ее на случай смерти пана полковника.

— Рады стараться, — отвечали в один голос старшины, низко кланяясь.

— Спасибо! — шепотом отвечал полковник, все еще отворотясь спиною к своим подчиненным.

— Где же бумага, пане мой любезный? — спросил Герцик.

— За образами... Ох!..

— Поищите, пане сотник, — сказал Герцик. Сотник приблизился к образам, ударил земной поклон и, перекрестясь, вынул из-за образа пакет, запечатанный полковничьего печатью. Герцик взял из рук сотника пакет, подошел к полковнику и спросил, поднеся бумагу к самому лицу полковника:

— Это твоя воля, пане?

— Она... ох... душно!..

— Душно, пане? Не открыть ли окна?

— Добре..

Гопак и Тропак бросились и открыли окно, говоря: — Уже мы, пане полковник, открыли.

— Добре... — и полковник опять начал тихо говорить; Герцик, наклонясь, слушал его со вниманием и потом сказал старшинам:

— Полковник хочет успокоиться и наедине помолиться богу о грехах. Выйдем, паны.

— Какие у него грехи? Чистая душа! Добрая душа! — говорили старшины, выходя из комнаты; впереди шел, важно неся запечатанный пакет, пирятинский сотник, гордясь доверенностью полковника.

Через четверть часа явился священник, вошел в опочивальню и опять возвратился, говоря:

— Молитесь, братья! Он умер!

— Умер?! — вскричали старшины.

— Умер! — сказал священник. — Умер нераскаянный! В грехах умер человек! Молитесь...

— Царство ему небесное! — крестясь, печально говорили все присутствовавшие. Но, бог знает, почему, присмотрясь хорошенько, можно было заметить, что на всех печальных лицах, не исключая даже Герцика, мелькала какая-то скрытая радость.

— Добрый был пан! — сказал Герцик.

— Добрый был начальник, — прибавил сотник.

— Правда, правда, — почти радостно подтвердили все.

— А какой-то будет новый?.. — заметил один есаул.

— Бог знает; что бог даст, то и будет, — говорили старшины. И на этот раз их лица действительно омрачило горькое раздумье.

Чудна игра физиономии человека, невольно подумает иногда. Душа — словно вода: никогда не бывает спокойна — вечно меняется..

VI

*Прийшов ні за чим, пішов ні з чим,
Шкода й питать, тільки ноги болять.
Малор. народная поговорка*

В полночь протяжный звон соборного колокола известил лубенцев о смерти их полковника; другие колокольни отвечали этому звону, и скоро весь город загремел колоколами; народ проснулся и толпами всю ночь до самого света приходил смотреть на усопшего полковника, который лежал среди комнаты на длинном дубовом столе, одетый в богатую парчевую одежду; кругом стола в тяжелых подсвечниках горели свечи; в головах икона и над нею сложенные крестообразно пернач и булава. Входя в комнату, казаки крестились, молясь о душе усопшего, а выходя на двор, громко проклинали крымцев, собирая охотников сделать вылазку на рассвете и дорого отплатить неверным за своего полковника; но вылазка не состоялась, к великой печали охотников.

Крымцы знали через своих лазутчиков,

что в миргородский полк посланы гонцы за помощью, и, услыша в городе колокольный звон и тревогу, вообразили, что идет отдаленная помощь, и, вообще любя более нечаянные набеги и разбой, нежели правильную войну и сражение, ночью убрались потихоньку, оставя зажженные сторожевые огни: так все думали в Лубнах — а может быть, были и другие причины. На рассвете казаки с валу не заметили крымцев, послали разъезды — разъезды никого не нашли, будто неверные провалились сквозь землю, будто их свеяло, унесло ветром.

Целую ночь не спал Касьян, думая о причине необыкновенного звона, и расспрашивал часового и соблазнял его пением; часовой, к великой досаде Касьяна, упорно молчал. Утром загремели замки, завизжали на ржавых петлях двери, и в тюрьму вошел Герцик.

— Поздравляю тебя, друг мой Касьян, поздравляю! — весело говорил Герцик, обнимая Касьяна.

— С чем? Не собрались ли повесить меня?.. — угрюмо спросил Касьян, отталкивая

Герцика.

— Боже мой! Что за человек! Настоящий воин, настоящий запорожец! Характерный человек! Крымцы ушли; теперь ты свободен.

— Молодцы! Ай да гетманцы! Вы их прогнали?

— Да, мы их порядочно поколотили вчера, а они ночью и ушли; верно, испугались колоколов: думали, мы что недоброе против их замышляем.

— Вот оно что! Есть чем хвастать. Так вы звоном прогоняли татар, словно налетную саранчу? Бабы!

— Нет, Касьян, мы звонили по другой причине; разве ты не знаешь нашей печали?

— Откуда бы я знал?

— Ты не знаешь! О боже мой! Плачь, Касьян! Полковник умер! Крымцы его убили...

— Вот оно что?.. Царство ему небесное, а плакать мне не о чем.

— Как хочешь, Касьян; это твое дело; ты умный человек. Пойдем же на раду; вот твое оружие: я приберег его из любви к тебе; пойдем на раду, уже собралась она. Один бог знает, я так полюбил тебя, Касьян!

— Что мне делать на вашей раде?

— Там все старшины, да запорожец сам не простой человек: и между старшинами тебе дадут почет; там будут читать последнюю волю полковника: может, он что такое и о дочке написал, и о моем приятеле Алексее. Пойдем; тебе не худо знать: поедешь, им передашь радость.

— Это дело; пожалуй, пойдем.

Собралась рада. Сотник и старшины присягнули, что перед смертью полковник вручил им это самое завещание и просил исполнить последнюю свою волю; после этого священник распечатал и громко прочел завещание:

«Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Я, не имея родных, в случае моей смерти, завещаю в лубенскую соборную церковь сто червонных, да в пирятинскую замковскую пятьдесят, а остальное все мое имение движимое и недвижимое отдаю в вечность и бесповоротность приемышу моему Герцику за его полезные моей особе службы, с тем чтобы он кормил до смерти Гадюку и наливал для него ежегодно

бочку наливки из слив, купленных по вольным ценам в местечке Чернухах. Року NN Славного войска Запорожского полка лубенского полковник месяца и числа NN Иван NN...»

Священник сложил бумагу и поклонился Герцику; все старшины тоже стали ему кланяться и поздравлять с наследством; даже самые злые недоброжелатели Герцика приятно разглаживали усы и ослаблялись перед ним.

— А о коне ничего не сказано? — спросил сотник.

— И о ружье?. И о сапогах?.. — говорили старшины.

— Что сказано, то свято, — смирно отвечал Герцик, — я не отопрусь; сказал покойник — берите; хоть оно и мне принадлежит, а берите, я не хочу перечить.

— Честный человек этот Герцик! — говорили старшины между собою

— Нет! — сказал Герцик твердым голосом. — Не хочу я наследства. У полковника осталась дочь: она наследница; вот вам честный запорожец; он приехал с поклоном от

нее; ей следует, а не мне...

— Нет, нет! — закричали сотник и старшины. — Имени ее нет в духовной, он ее изрекся: она ушла от него...

— Может быть, покойный не знал, живали она, — заметил Герцик.

— Вот дурень! — ворчал, обратясь к товарищам, сотник, которому, как видно, очень хотелось сивого коня.

— Говорил ты, добрый человек, покойному полковнику, что его дочь жива, и точно это правда? — спросил Касьяна священник.

— Говорил, сейчас как приехал говорил полковнику; а его дочка и теперь у меня живет на зимовнике...

— А это завещание писано вчера, — сказал священник, — значит, он с умыслом умолчал о дочери, хоть и знал, что жива она; значит, он устранил ее от последней своей воли, и ты, Герцик, не смеешь отказываться от исполнения воли умирающего, должен принять все его земные блага и стараться о приобретении таковых же на небе.

— Не смею вам перечить, — отвечал Герцик, смиренно кланяясь.

Старшины получили подарки, назначенные им по словесному приказанию полковника. Полковника похоронили при громе пушек, звуке труб и мелкого ружейного огня, и к вечеру вся знать пиновала у нового своего товарища по богатству, у Герцика. За ужином сперва пили печальные кубки за упокой души покойного и пели вечную память, потом начали пить здоровье Герцика, потом сотника и старшин, закричали «ура», запели многие лета и перед светом разошлись очень довольные собою.

Когда разошлись гости, Герцик пришел в полковничью опочивальню — она теперь сделалась его комнатою, — весело прошел по ней несколько раз, потирая руки, странно улыбаясь, и сел на кровать, на которой в прошлую ночь лежал умиравший полковник. Герцик задумался и вдруг вздрогнул, быстро вскочил на ноги и; подняв ковер, тревожно посмотрел под кровать: там ничего не было. «Дурак!» — прошептал Герцик, сел и опять задумался. Лицо его сделалось страшно, болезненная дрожь пробегала по нем, порою губы его судорожно искривлялись — бог ведает, от

злой улыбки или тяжелой боли сердечного страдания.

Уже было утро, а Герцик все еще сидел на кровати, задумчивый, печальный, спустя голову на руки, упертые в колени, и только тогда поднял ее, когда скрипнула дверь и на пороге показался Касьян. Видно было по одежде, что запорожец собирается в дорогу.

— Ты, Касьян? — спросил Герцик.

— Уже не кто другой, — отвечал запорожец, — прощай; я сейчас еду.

— Куда?

— К себе на зимовник. Тут мне нечего делать.

— погоди, Касьян; погуляй с нами.

— Спасибо. Не весело мне, да и тебе, как видно, не очень весело.

— Правда твоя, Касьян; сейчас видно умного человека: не весело мне, я лишился благодетеля, а тут еще покойник обидел бедную свою дочку: видит бог, Касьян, как мне жаль ее и ее мужа! Ты сам слышал, как я отказывался.... что ж делать; рада присудила: нельзя, говорят, переменить завещания: воля покойника, говорят, свята.

— Не солгу, слышал.

— Ну, вот видишь, сам не знаю, чего б я не дал, чтоб переменить это... Видит бог, Касьян, я добрый человек; мне Алексей Чайковский большой приятель, вот посмотри кинжал — это его подарок; скажи ему, что висит у меня, видишь, где? На почетном месте. А Марина всегда была такая ласковая, всегда меня отпрашивала, как, бывало, покойник — чтоб над ним земля пером лежала — захочет меня, бывало, потузить за что-нибудь...

— Спасибо и за доброе слово. Прощай.

— Нет, погоди, Касьян; скажи Марине, что я всегда буду ее помнить и все имение полковника буду считать ее именем; я буду просто ее арендарь; все ей доставлю, пусть ни в чем не нуждается, ест и пьет из серебра, ходит в бархате, слышишь?..

— Слышу

— А на первый раз возьми вот этот мешок дукатов. Кланяйся от меня, и ее мужу кланяйся, скажи, что я с ним скоро увижусь... Вот только управлюсь с делами, сейчас приеду к вам на зимовник. Погуляем вместе, забудем горе..

— Из хороших уст хорошее и слово, — отвечал Касьян, укладывая мешок в карман бесконечных своих шаровар.

— Теперь прощай, братику, прощай, Касьян; веришь ли, я и тебя люблю не меньше Алексея, что для него, то и для тебя готов сделать. А как же мне найти твой зимовник?

Касьян рассказал дорогу, поклонился и вышел. Скоро вздохнул он свободно на широкой родной степи. Ветер веял, трава шумела, добрый конь скакал; Касьян пел песню, подъезжая к своему зимовнику.

VII

*«Он полети, галко,
Де мій рідний батько —
Нехай мене одвідає, коли мене
жалко».*
*Летить галка, криче,
А дівчина плаче:
«Нема в мене рідненького!
Тільки ти, козаче!»*

Малороссийская народная песня

Гости пьют и едят,

*Речи гуторят,
Про хлеба, про покос,
Про старинушку.*

А. Кольцов

— **Ч**то вам сказать, мои дети? — говорил Касьян Чайковскому и жене его, сидя за столом в своем зимовнике. — На гетманщине, как я заметил, так все перепуталось, перемешалось, словно волосы в войлоке: порядку нет; одно только мне чудно, хоть и верно, что Герцик смотрит великим мошенником: так и просится на веревку, а делает хорошо, ей-богу, хорошо; что ни говори, у него душа лучше рожи.

— Ты, батьку, чудно говоришь, говоришь обиняками; тут что-то есть.

— Ничего нет.

— А батюшка что, полковник? — спросила Марина.

— Ничего. Известно: умер, похоронили, и все тут; всем придется умирать... Вот ты уже и плачешь, доню! Нехорошо...

Но Марина его не слушала; громкие рыдания, перерываемые восклицаниями: я этому причиною, на мою голову падет смерть его и

подобные в этом роде, задушали Марину.

— Вот говори бабам правду! — заметил Касьян. — Они из мухи коня сделают; и давай плакать... Татары его убили, а не ты; он не очень о тебе беспокоился...

Когда немного утихли рыдания Марины, Касьян рассказал всю историю своей поездки, которая нам уже известна, и заключил ее словами:

— Вот я и приехал к вам ни с чем, кроме этого мешка дукатов... Что ни говори, а Герцик добрый человек.

— Так он не проклял меня?

— Вот дурная баба! За что бы он проклял тебя? Да коли б и проклял, я не скрыл бы...

— Ну, я рада! Камень свалился с души моей от слов твоих, Касьян. Меня не проклял отец... Благодарю тебя, господи! Теперь я ничего не боюсь, я еще не одна на свете... — И Марина, обняв Чайковского, прильнула к груди его и тихо плакала.

— И давно бы так! Бог знает об чем плачет!.. — прибавил Касьян. — Вы останетесь у меня жить; деньги у вас есть и еще будут; зовите меня батьком, а умру — ваш зимовник и

все ваше: для вас станет; будут дети, сыновья — посылайте служить на Сечь; послужат, узнают политику и характерство — будут людьми. Вот и все тут. Полно, дети, плакать!

Спокойно зажил Чайковский на зимовнике; днем ходил на охоту, вечером слушал рассказы Касьяна о подвигах запорожцев в давно минувшие времена, и когда на какой-нибудь подвиг была сложена песня, — а это было сплошь и рядом, — то все пели эту песню и Касьян пояснял им некоторые аллегории, без чего вы найдете мало песен в Малороссии, что и подало повод многим умным людям, не понимавшим их, упрекать бедные создания народной поэзии в бессмыслице.

Недели две спустя, в одно утро, старый Касьян очень прилежно вырезывал из куска сухого липового дерева столовую ложку; Марина, сидя у окна, вышивала цветным шелком хустку (носовой платок) для мужа; Чайковский, собираясь на охоту, посадил на руку ученого ястреба и привязывал к его лапе погремушку. Вдруг раздался конский топот; несколько казаков остановились у ворот зимовника и спрашивали хлопца, ходившего по

двору: Это зимовник Касьяна?

Касьян вышел и скоро возвратился, ведя гостя, одетого в богатый наряд.

— Алексей, друг мой! — закричал гость, бросаясь обнимать Чайковского.

— Неужели ты, Герцик? — сказал Алексей. — Я всилу узнал тебя... паном стал..

— Ох, тяжело мне это панство! Не говори об нем, братику! Касьян свидетель, как это случилось... Сердце у меня так и рвалось к тебе... Как посмотрю на твой кинжал да вспомню наше прощанье — помнишь, на Сечи, — вот так сердце и рвется, так и шепчет: «Есть у тебя друг, ты забыл его...» Видит бог, правда!

— Пстой, Герцик, я человек прямой; скажи мне, ты знал, когда был на Сечи, что полковничья дочка, теперешняя моя жена, ушла?

— Ах, бог мой, и пани Марина здесь! Я от радости не заметил! Да как вы похорошели, пани; позвольте поцеловать вас...

— Ай, Герцик! Ты сильно целуешь, — вскричала Марина, вырываясь от Герцика.

— От радости себя не помню... Да; ты спрашивал, Алексей, знал ли я? Разумеется, знал.

— Отчего ж ты мне не сказал?

— Э, братику! Не так легко сказать печаль, как радость. Ты был такой веселый, что мне было жаль тебя печалить; да и мы сами не знали, где дочка полковника — пропала, и только. А сбежала ли она, утонула или ее кто извел со света — никто не знал. Как же мне было сказать тебе!.. Посуди сам... Виноват, пожалел тебя; а видишь, все вышло к лучшему. Чему быть, тому не миновать.

— И то правда, — отвечал Алексей.

— Теперь, дядюшка Касьян, я попрошу твоей ласки, — сказал Герцик, — не оставить моих казаков; со мною их человек шесть; знаешь, взял для безопасности в ваших степях...

— Пустое! — отвечал Касьян — Как бог даст, и один человек проедет: вот я всегда один езжу, а не даст — и десяток не спасет... А твоим и коням, и хлопцам будет место; у меня своих хлопцев человек десятка три-четыре живет на зимовнике, так шестерых и не заметят.

— Ото! А я думал, один живешь...

— Один не долго бы прожил..

День прошел очень приятно. Герцик навез много гостинцев для Касьяна, Чайковского, а

особливо для Марины, говорил, что никогда не забудет благодеяний отца ее, что мать Чайковского здорова и уже знает о женитьбе сына, и что даже он постарается привезти ее зимою на зимовник, и тому подобными речами расположил их всех в свою пользу; даже и Чайковский начал подумывать: «Да, в самом деле Касьян прав; Герцик добрый малый». Одна только Марина инстинктивно ненавидела его и не хотела принять подарков.

Касьян угощал на славу, и за ужином, после порядочного чаркования, гость сделался совершенно своим. Начали рассуждать, как провести завтрашний день.

— Я предлагаю вам съездить на охоту, — сказал Касьян, — здесь очень много дичи, а я займусь сам с кухарем, да приготовлю вам такой стол, что и гетману не иметь подобного: Я сам, ей-богу, сам — не смотрите, что стар, — а вот так засучу рукава по локти, вот как видите, и пошел стряпать... Вы не шутите со мною!

— Прекрасно, дядюшка Касьян! — подхватил Герцик. — Мы поедем с Алексеем на охоту... у меня же есть чудесное ружье.

— И у меня тоже, — прибавил Алексей, —

и дичь я знаю где водится.

— Стой! — закричал Касьян. — Видать, сейчас видать, что оба гетманцы. Хлопать пойдут по степи; одну штуку убьет, а десять разгонит... То ли дело с ястребами! У меня и ястреба есть.

— Что за охота с ястребом? То ли дело ружье! — сказал Герцик — Я и не умею охотиться с ястребом, а поеду с ружьем... Правда, Алексей? Поедем с ружьями.

— Эх вы, дурные головы! Что ваше ружье? Выстрелом убил, конечно, да разогнал, распугал десяток. А как спустишь ястреба, как взовьется он, как бросится с налету на птицу — шумит воздух, крепкие перья, будто струны, звенят на крыльях... да, звенят, прислушайся, коли есть уши; недаром сложена песня:

*Конь бежит — земля дрожит,
Сокол летит — перо звенит.*

Ей-богу, чудо как весело! Нет, с ястребами поезжайте на охоту; я сам бы поехал, да дела много дома; а вы молодой народ: погарцуйте — и пообедаете вкуснее.

Герцик еще противоречил Касьяну, но старик и слышать не хотел; и так решено завтра утром рано ехать на ястребиную охоту.

Было любо смотреть на Герцика и Чайковского, когда они утром выехали вдвоем на охоту. Марина еще спала; старый Касьян в нагольном тулупе проводил их за ворота, повторяя разные охотничьи наставления. Весело ехали они рядом рука об руку, как родные братья, смеялись, разговаривали, вспоминали прошедшее... Когда зимовник скрылся совершенно из виду, Герцик пустил своего ястреба на стрепета: ястреб сразу убил неповоротливого соперника, стрепет упал на песчаную поляну, поросшую мелким бурьяном; охотники подскакали к дичи, слезли с лошадей.

— Славная штука! — говорил Чайковский, подкидывая на одной руке стрепета.

— Это ли охота! — отвечал Герцик. — Стрепета ловить — просто брать мясо руками.

— Правда; вот если б журавль, натешились бы.

— Да, посмотри, не журавль ли это?

— Где?

— Вон высоко-высоко, будто черная точка в небе, прямо над твоей головой.

Чайковский поднял голову, пристально глядя в синее небо. Герцик, не сводя глаз с Алексея, быстро присел, опустил до земли руку, захватил горсть песку и — жалобно вскрикнул. Алексей испугался, когда посмотрел на него: страшно крича, бледный от страха, Герцик махал по воздуху правой рукою; около руки, как тонкая плетка, вилась темно-серая змея.

— Алексей, спаси меня. Злая гадина впи-лась мне в большой палец, — кричал Герцик, — и не оставляет меня, огнем жжет, проклятая.

Наконец, убили змею; Герцик был бледен, желт; холодный пот крупными каплями блестел на лбу его; укушенный палец покраснелся, распух.

— Пропал я! — шептал Герцик. — Наказание божее... видимое наказание.

— Пустое! — говорил Чайковский. — Мало ли змеи кусают, да не все укушенные умирают: притом же эта змея была маленькая, тоненькая — дрянь.

— Это и страшно, что она маленькая да тоненькая; это и есть самая злая порода; не всякий знахарь отшепчет ее!.. Бог наказал меня!..

— Перестань, не гневи бога; ты сделал доброе дело: утешил нас, помог нам, за что тебя наказывать?

Герцик молча покачал головою.

— Я ума не приложу, как она тебя укусила?

— Бог наказал! Я хотел...

— Что хотел?

— Хотел... сорвать былинку, а она, скверная змея, верно, лежала под кустиком и схватила за палец. Ой! Господи, как болит! Мороз за кожу ходит. Поедем, брат, поскорее домой.

Печальные приехали на зимовник наши охотники. Чайковский вел в поводу лошадь Герцика, который едва сидел на седле: так его корчила страшная боль; рука раздулась, распухла, словно обрубок; на ней, будто ростки, торчали пальцы; от укушенного места, как лучи, шли во все стороны багровые линии.

Касьян распорол рукав кафтана и рубахи, потому что их снять уже было невозможно,

посмотрел на руку и хладнокровно сказал:

— Ничего, пройдет. Меня на веку три раза кусали змеи, да все знахари отшептывали; только ничего не кладите на рану, пока придет знахарь; я пошлю сейчас за ним хлопца, он недалеко.

VIII

*У вівторок зілля варила,
А у середу Гриця отруїла.*

Малорос. народная песня

*Я не таков: нет, я, не споря,
От прав моих не откажусь,
Или хоть мщеньем наслажусь.*

А. Пушкин

Хлопец не застал знахаря дома и рысцой поплелся назад.

День был к вечеру. Едет хлопец, а навстречу идет, бог ее знает откуда, цыганка, в синей исподнице, в красной изорванной юбке, старая, скверная, лицо — как ржавый котелок, волосы седые висят клочками из-под какой-то грязной тряпки, намотанной на го-

лову; нос крючком к бороде, борода крючком к носу, а глаза так и светятся. Хлопец перекрестился и, боязливо сняв шапку, сказал:

— Здравствуй, тетушка!

— Здорово, небож, — отвечала она шепелявя, — куда бог несет?

— Домой.

— А откуда?

— Ездил за знахарем; дома не застал.

— А на что вам знахарь?

— Казака укусила гадюка (змея).

— Ох, боже мой! И давно укусила?

— Не знаю когда, должно быть, сегодня; вчера он был еще не кусаный и поутру сегодня поехал на охоту, кажись, не кусаный, а ополудни вернулся уже укушенный.

— Ну, благодари бога, что повстречал меня! Веди меня скорее; я помогу ему, я знаю заговаривать и кровь, и змею, и лихорадку, и всякие напасти; веди меня.

— Спасибо вам, тетушка, — отвечал, почесываясь в затылке, хлопец, которому очень не хотелось быть вместе со страшною цыганкою, — да меня не за вами послали; боюсь, как рассердятся.

— Дурень! Разве не все равно, кто ни вылечит казака? Еще спасибо скажет тебе хозяин; а умрет человек — на твоей душе грех будет.

«Правду говорит бесова баба, — подумал хлопец, — да страшно! Если она ведьма, зайдет сзади, вскочит на коня, а после и мне на плечи и станет ездить на мне куда захочет...»

— Что же ты молчишь?

— Пожалуй, тетушка; только, будьте ласковы, не идите со мною рядом, а ступайте вперед; я буду рассказывать дорогу, а то мой конь не любит бабьего духу.

Цыганка пошла вперед; хлопец поехал за нею шагом на благородном расстоянии.

Солнце зашло, и полная луна взошла на чистое небо, когда хлопец и цыганка прибыли на зимовник.

В темной комнате стонал Герцик; его рука распухла до плеча и будто покрылась лаком; но опухоль не шла далее. Видно, яд потерял свою силу. В соседней комнате сидели при свете каганца (плошка из толстой светильни и бараньего жира) Касьян и Чайковский с женою, рассуждая, куда пропал хлопец. Нако-

нец, он явился.

— Где ты пропал, вражий сын? — закричал Касьян. — Человек умирает, а ты, верно, спал в степи? Где знахарь?

— Знахаря нет дома; сказали: поехал в панланку (род городка оседлых запорожцев) лечить какую-то паню: говорят, что-то съела, что ли, так в животе неблагополучно; а вернется послезавтра, сказали, приедет.

— На черта он мне послезавтра, дурень? Где же ты пропадал?

— Я нигде не пропадал, а все ехал ходою, проводил сюда какую-то знахарку, что ли, цыганку, что ли, я не разберу ее толком; стар человек, тихо ходит, а говорит: «Вылечу от гадюки». Вот мы и опоздали.

— Где же твоя знахарка?

— Тут, за дверью, только не испугайтесь. Пожалуйте сюда, тетушка!

Хлопец, толкнув ногою, отворил дверь и быстро отошел в сторону. Цыганка вошла.

— У вас есть недужий (больной), — говорила она, — змея укусила его; злые змеи в это лето, очень злые, трудно заговаривать их, а я знаю заговорку, заговорю змею хоть водяную,

хоть степовую...

— Это степовая, — сказал Чайковский.

— А ты почему знаешь? Ты знахарь? Так заговори, коли знахарь.

— Я не знахарь, бог не дал мне мудрости, а змея укусила на степи, так должна быть степовая.

— Не мешайся не в свое дело, ученого учить — портить.

— Правда, тетушка, — сказал Касьян, — идите скорее к больному, время не терпит.

Цыганка сбросила с головы тряпку, встряхнула головою, и длинные седые волосы совершенно закрыли лицо ее; потом подошла к Герцику, осветила ему руку, взглянула на лицо и остановилась.

— Что, бабушка, можно отшептать? — спросил Герцик жалобным голосом.

— Можно, лишь бы угодно было богу. Я, кажется, где-то видела тебя? Не ворожила я тебе когда-нибудь?

— Нет, бабушка, никогда не ворожила, в первый раз тебя вижу.

— Ну хорошо, идите себе, вынесите и светло.

Все вышли в другую комнату, скоро слышалась заговорка цыганки.

«Помолюся господу богу и всем святым его! Десь-не-десь на Лукоморье стоит яблоня сухая, на тую яблоню муха налетает, лист обвивает, черва нападает, корень источает, яблоню стубляет... И на человека раба божьего есть напасть злая, болести, и хворобы, и всякие наробы, и гады заклятые; ты у меня, подтинница, веретинница, не крутись, не вертись, я тебя знаю, от сестер различаю, есть веретинница луговая, лесовая, гноевая, земляная и веретинница водяная. Я тебя словом сильным изгоняю, заклинаю, убирайся к сестрам-посестричкам, малым невеличким, где топор не стучит, где люди не ходят, где коровы не бродят, куда петушиный голос не залетает; не палить, не сушить тебе белого лица, желтые кости, горячия крови раба божия!.. Тьху! Сгинь!.. Сгинь, говорю!»

Три раза прочитала цыганка заговорку и вышла в другую комнату, где на нее с благоговением смотрели Касьян и Чайковский с женою.

— А что? — спросил Чайковский

— Трудная змея, не простая змея! Да и запустили рану; много времени прошло... Посмотрим, что будет.

Через несколько времени пошли к больному. Рука была все в одном состоянии.

— Каково тебе? — спросил Касьян.

— Немного стало будто легче.

— Худая примета! — сказала цыганка. — После этой заговорки должно быть немного труднее: яд испугается и начнет метаться, а то он спокоен, злая змея укусила тебя!.. Опасно, очень опасно, заговор не берет, надо лечить, вот приложим на рану этот корень: он последнее средство.

Цыганка достала из кармана своей юбки корешок темного цвета, разрежала его, помочила водою, приложила на рану и крепко обвязала кругом тряпкою.

— Это поможет? — спросил Чайковский.

— Поможет. Какая бы ни была змея, от всякой поможет, разве укусит змеиха, у которой убили детей, от этой ничто не поможет, ничто не спасет, — говорила цыганка, странно улыбаясь.

Не успела цыганка закончить своих ре-

чей, как Герцик страшно застонал, заметался на постели.

— А что? — спросила цыганка

— Жжет, словно огнем; жилы тянет...

— Ага! Испугался яд. Терпи казак, атаман будешь.

Но Герцику невмочь было терпеть — он метался, кричал, ревел нечеловеческим голо-сом и сорвал перевязку. С ужасом все увидели страшную перемену: рука посинела, опухоль быстро подвигалась к шее, укушенный палец почернел.

— Жаль мне тебя, добрый казак! — говори-ла цыганка, смотря прямо в глаза Герцика. — Ты умрешь, непременно умрешь, никакие си-лы не спасут тебя, и умрешь скоро; опухоль охватит горло и задушит. Пошли за попом, приготовься к смерти, тебя укусила змеиха, у которой отняли детей, яд ее неизлечим... неизлечим ее яд... Слышишь?.. Не увидишь ты более солнца, в эту ночь закроются навеки глаза твои.

И, страшно улыбаясь, глядела она в очи Герцику, будто с наслаждением читая в них всю глубину мучений безнадежного отчая-

ния.

— Отойди от меня, — простонал Герцик. Цыганка тихо вышла из комнаты, из другой и скрылась.

«Чужая беда — людям смех», — говорит народная поговорка и, к несчастью, она, как и все поговорки, очень справедлива. В природе человека есть много зла, все четвероногое и четверорукое, говоря в смысле животном, отдавая преимущество своему двурукому собрату в уме и способностях, должны уступить ему и в жестокости. Стоит сравнить дикого, который с радостным смехом и неистовыми прыжками режет на части живого человека и с наслаждением ест его еще трепещущее тело, стоит сравнить с христианином, который любит и врагов своих, чтоб убедиться в святости и божественности религии и великой силе воли человека духовного, так победившего, уничтожившего животного человека... Но есть люди, даже в образованном обществе, люди-ненавистники, странные натуры, которым несчастье ближнего доставляет душевное наслажденье; они без всякой видимой причины готовы делать зло, где только мож-

но, готовы повредить вам не из желания по-важничать, не из корыстолюбия, не из личных отношений — нет, а просто безотчетно, для собственного своего удовольствия готовы замарать ваше доброе имя, уничтожить вашу службу, испортить всю вашу будущность, чтоб после в тишине кабинета сказать самому себе самодовольно: «А! Он страдает! Он терпит. Это мое дело!». Но если человеком овладеет страсть, особливо мщение, тогда тигры и гремучие змеи перед ним — кроткие барашки; он способен удивить самое воображение.

Старая цыганка вышла из хаты и, пойдя к окну, села на корточках на завалине, смотря с наслажденьем в окно на муки умиравшего Герцика. По временам улыбалась она, тихо смеялась, закрывая рукою рот, и шептала: «Это яд змеихи, у которой отняли детей. А что? Любо? Тянет жилы твои? Ломит кости? Палит, сушит казацкую поганую кровь?.. Не помню, где я его видела, как он ушел от моих рук; еще ни один не уходил... ни один...»

— Ох! Тяжело! — стонал Герцик. — Жарко, душно! Дайте воды... умру я. Неужели нет ни-

какого спасения?.. — И он страшно озирался, медленно поводя уродливою больною рукою, а здоровою рвал на себе волосы...

Касьян и Чайковский печально стояли у постели больного. Марина подала ему ковш холодной воды. Слезы струились по лицу Марины и падали в ковш.

— И ты плачешь обо мне, Марина?.. О, боже мой!.. Недаром я умираю... Дай воду. У! Как свежа она!.. Легче, право, легче... Марина! Для меня принесла воду, Марина?

— Для тебя, Герцик.

— Для меня! Как бы хотелось мне заплакать!.. Да слезы высохли, искры сыплются из глаз вместо слез. Что, Касьян, умру я? Скажи правду?

— Пошлю я за священником, Герцик: опухоль у самого горла; знахарка правду сказала.

— Чертова колдунья! Она извела меня со света. Как приложила корешок, будто огня в меня налила. Ох!.. Дайте мне ее, я задую ее одною рукой!

— Полно, Герцик, гневить бога нехорошими речами! — сказал Чайковский — Бог все знает, все видит, сам накажет грешника! Луч-

ше подумай о покаянии... Время дорого; ты не баба, приготовься...

— А я пошлю за попом, — прибавил Касьян.

— Нет, — закричал Герцик, — я не могу видеть попа. Правду сказал ты: бог накажет грешника накажет!.. Я вам исповедаю грехи свои: перестанет Марина плакать обо мне, вы отступите от меня... Я грешник, страшный грешник... Позовите сюда моих казаков, позовите своих людей, пускай все слушают. Ох! Воды, воды!..

Полная светлица набралась народа. Все окружили Герцикову постель и молча стали. Герцик посмотрел кругом, закрыл глаза левою рукою, как бы собираясь с мыслями, спросил воды и начал исповедь:

— Не гляди на меня, Марина, такими кроткими глазами; я не стою этого; я причина всех ваших бед, я привел полковника на остров, потому что я любил тебя; мне было завидно, что ты любишь другого... Много бессонных ночей провел я, думая о тебе, проклиная свое рождение. Ты знаешь, кто я был, а ты была дочь моего полковника; я был раб твое-

го отца и твой; мне было любо унижаться перед тобою, и ни одного взгляда, ни одного привета от тебя не было мне... Я проклинал твой образ, когда он являлся мне во сне, и любил тебя еще более. Мог ли я терпеть любовь твою к Алексею?.. А у меня глаз очень зорок: я все видел и поклялся извести Алексея, сделаться богатым и во что бы то ни стало быть твоим мужем. Мне стало жить веселее, у меня была цель, для чего жил я... Жарко... Воды!

Марина подала ему воды.

— Добрая душа! Как бы мне хотелось теперь заплакать!.. Вышло не так, как я думал. Алексей ушел, ты ушла, никто и следа вашего не знал... Я овладел доверенностью полковника, я стал другом ему в его одиночестве. Между тем пошли в народе толки о татарах, будто хотят напасть на нас; я вызвался ехать на Сечь и там, узнав тебя, предал вас в руки запорожцев. Не мне, так и не ему! — думал я, выезжая из Сечи, и поехал не в Лубны, а в Крым, где стоворился отдать Лубны крымцам, а, возвратясь, донес полковнику, что все благополучно и что вас казнили на Сечи. Полковник не велел никому этого рассказывать; я и

замолчал, поджидая гостей. Один жид, которого, хотел и поляки повесить за подделку монеты, ушел в Лубны и ходил в казачьем платье, называя себя казаком, а он был Гершко, медник из Львова; я познакомился з Гершкою и посылал его шпионом куда было нужно. В один день, рано утром, Гершко сказал мне, что в овраге будут крымцы. Я поехал будто на охоту, и виделся с ними, и продал им полковника; но, приехавши, узнаю, что у полковника запорожец, и полковник знает уже о крымцах, и что дочка полковника жива. С первых слов я хотел извести тебя, Касьян; но когда узнал, что у тебя живет Марина, я повел дело иначе — ты знаешь как Полковника, по условию, я выставил крымцам: по перышку на шапке они узнали меня и его; но Гадюка освободил его полумертвого; пирятинцы не пустили татар ворваться в город... Я опять повел дело иначе. Под кровать умирающего полковника посадил Гершка, и когда умер полковник, Гершко разговаривал с старшинами вместо полковника и приказал старшинам выполнить завещание, которое я сам написал под руку полковника. Гершко ушел в

отпертое окно; я не знаю, где он, — найдите его, он вам лучше расскажет. И вот я стал богат, очень богат; но ты, Марина, была жива, тебя обнимал другой, а не я, обнимал злейший мой враг, оттого что ты любила его. Это мне не давало спать спокойно. Я и поехал сюда в зимовник и взял с собою лучших казаков... Винюсь перед вами, хлопцы, хотел употребить вас на нечистое дело и силою взять Марину... Но много людей у тебя, Касьян, на зимовнике, каждую ночь ходят вооруженные сторожа, и я переменял дело: хотел на охоте застрелить Алексея, сказать, что он сам застрелился — и тут не удалось; ты, Касьян, выпроводил нас с ястребами, только и было у нас по кинжалу за поясом. Хотелось мне, очень хотелось отправить тебя, Алексей, на тот свет твоим же кинжалом, да не мое дело владеть холодным оружием, особливо против людей сильнее меня, здоровее меня... Вот я показал тебе журавля в небе, хоть его совсем там и не было, думаю, ты подынешь глаза, а я засыплю тебе песком глаза, и пока ты будешь слеп, заколю тебя: в один раз не удастся, десять раз ударю кинжалом, и ты не будешь ви-

деть меня, не будешь знать, с которой стороны падет удар... Ты поднял глаза, я захватил горсть песку, да вместе схватил и смерть свою. Бог послал страшную змею: от его руки умираю теперь. Ох, воды! Боже мой! И вы дайте мне воду, и вы помогаете страшному грешнику?.. А как полковник любил тебя, Марина! Как мне говорил много о тебе перед смертью: я все затаил, грешный человек!.. Простите меня!

— Бог наказал, бог и простит тебя, — сказал Алексей, — а мы простили...

— И ты, Марина, не сердись на меня?.. Ох, душит!.. И ты простила?

— Бог тебя простит, Герцик...

— О, боже мой!. Чайковский! Алексей! Я умру скоро, не откажи в просьбе, позволь Марине проститься со мною?.. Марина, простишь со мною!.. Пускай твой поцелуй, будто крыло ангела, осенит меня перед смертью.

Марина подошла к нему, подумала и тихо наклонилась к лицу Герцика. В тишине только зашумели, опускаясь, металлические кресты и дукаты, висевшие на шее Марины.

— Отойди!.. — страшно закричал Гер-

цик. — Отойди! Я укушу тебя... Зачем ты так хороша?.. Боже мой... Да... Это что?.. Ох, душист! Точно... это она, святая монета... — тихо говорил Герцик, будто припоминая сон, — да зачем ты носишь нашу монету?

— Какую вашу?

— Иерусалимскую монету! Вот она у тебя висит на шее рядом с крестом; она мне сверкнула в глаза страшным воспоминанием, такую монету моя мать надела на шею маленькой сестре моей давно-давно. Эта монета от святого человека, эта монета из храма Соломона... Надела на шею, а казаки взяли сестру мою... Что вы так смотрите? Что глядите? Я еврей...

С ужасом все отступили от Герцика.

— Боятесь меня? Теперь нечего бояться! Я как теперь помню сестру, черные очи, на правой щеке красная родимочка... Хороша была сестра моя... Куда вы?..

— Иосель, Иосель, сын мой! — кричала старая цыганка, вбегая в светлицу и бросаясь на грудь Герцика. — Будь проклят час, когда ты надел казачье платье! Я не узнала тебя... Горе мне! Не узнала родного детища, сама

убила тебя, положила яд на рану, не змеиный яд, свой яд; много им отравила я на тот свет врагов наших, злых казаков, я мстила за вас, мои дети; мне было любо, когда умирал казак; я думала: вот новый выкуп за детей моих!. И сама тебя отравила! Горе мне! Ты умрешь, Иосель — силен яд! Горе мне! Горе!

И старуха упала на пол, ломая руки, судорожно теребя костистыми пальцами седые пряди волос своих.

— Что вы смотрите? Смейтесь, враги мои! Не я убила сына, вы убили его. Слушайте, как хрипит он! А где дочь моя, где моя Текля?.. Вы убили ее, вы взяли нашу монету... Вот она, вот она! — кричала цыганка, схватив медный дукат, подаренный Татьяною, который висел на шее Марины. — Вот благословение хосета. Еще видны на нем следы зубов моих; я заломила край дуката своими зубами, прощаясь с дочерью. Нет уже зубов тех! Растеряла я их по вашим степям, но я полила их вашею кровью, и вырастут из них на вашу голову страшные змии. Где дочь моя?

— Она умерла, — отвечал Чайковский.

— Умерла! Бог мой! Слышишь, Иосель,

сын мой? Она умерла, умерла, сестра твоя! Слышишь?

Но Герцик лежал уже мертвый.

— Что же не отвечаешь, сын мой? Не гляди так страшно на меня! Я убийца твоя, но я не желала тебе зла. Посмотри! — И, быстро разорвав на груди рубаху, достала цыганка старый кошелек и высыпала на мертвого горсть мелких монет. — На, вот они, я для вас собирала, питалась по целым дням травами, жила, как собака, ночевала под заборами и собирала деньги, чтоб отдать вам, мои дети. Я мстила за вас и жила для вас! Да скажи хоть одно слово! Не гляди на меня так страшно, Иосель! — И старуха сильно дергала за руку труп; труп бессмысленно кивал головою.

— Он умер, — сказал Касьян.

— Умер! — тихо проговорила цыганка. — Умер? И она умерла, и он умер?.. Умер, ха-ха-ха! Еще один умер! Двухсотый умер! Хорошо, Рохля, хорошо!.. У, гу, гу, гу!.. — запела старуха, подняв кверху руки, и, ходя по комнате, поводила на всех безумными глазами.

Казаки со страхом жались по углам.

— Убирайся, нечистая сила, откуда при-

шла! — сказал Касьян, широко растворяя двери. — Не нам тебя судить; божий суд над тобою.

«У, гу, гу, гу!» — пела старуха, и хохотала безумно, и, попрыгивая, тихо пошла по степи, озаренной луною. Страшно краснела при луне яркая одежда колдуньи и сверкали седые волосы, разметанные по плечам. Но вот уже ее стало не видно; только изредка долетало протяжное «гу, гу!» — и печально завывали на зимовнике собаки, отвечая на эти отголоски.

IX

*«Добре, добре! Ну, до танців,
До танців, кобзарю!»*

Т. Шевченко

— Грому, грому, хлопцы! — кричал за порожец, неистово выплясывая посреди светлицы отчаянного казачка.

Музыка гремела, стонала; казалось, трубы готовы были разлететься от ярких звуков, литавры и барабаны полопаться от усиленных ударов; других инструментов не было слыш-

но. А запорожец кричал: «Грому, грому!.. Грому, собачьи дети!» Никита разгулялся и кружился быстрым вихрем по комнате, то вскинув кверху руки, вырастал красным столбом под потолок, то со свистом и щелком растянулся по земле, словно пламя, гонимое сверху ветром.

Кругом плясуна толпились хорошенькие личики девушек, и синие жупаны гетманцев, и зеленые черкески запорожского товариства.

— Давно так бы танцевали, если б слушали Гадюку! — сказал Гадюка Касьяну, стоявшему подле него. — И он сам танцевал бы.

— Кто? — спросил Касьян.

— Известно, покойный полковник! Душа у меня не лежала к Герцику; я узнал кое-что от прохожего кобзаря из Польши и стал было обиняком рассказывать полковнику, да ты приехал и помешал.

— Вот что! Что ж ты ему прямо не сказал?

— Не такой был покойник; у него коли было хочешь, чтоб спал, так говори «Не спи», — он нарочно и ляжет, чтоб показать характерство. Такой была упрямая душа! Я уже стал

было ему говорить околицею, да не удалось досказать. Так и умер, не дослушавши... Жаль!.. Тряхнем, Касьян, стариною?

— Тряхнем!

И оба, выскочив из толпы к Никите, начали выписывать ногами невообразимые вензеля.

Третий день уже длился пир в Пирятине — такой пир, какого и старики не помнили и потомки впоследствии никогда не видели, а нам тем более не увидеть. Третий день уже пировали у пирятинского сотника Чайковского неслыханные гости запорожцы с своим кошевым Зборовским. Шуму, крику, потехам конца не было. То на раскрашенных лошадях ездили по городу разные машкары (маски), кто жидом, кто цыганом, кто немцем; некоторые, даже не боясь греха, наряжались чертам, совершенным чертом, настоящим чертом, и с хвостом, и с рогами; то, выходя на базар, запорожцы садились в чаны с дегтем (смолою) и представляли, как души грешников кипят в аду, а после, выскочив все мокрые, бросались в пыль, в песок и валялись по земле, потешая народ.

— Да откуда набралось у вас этого народа? — спрашивал захожий прилучанин своего приятеля-пирятинца.

— Разве ты не знаешь, что сын нашего покойного протопопа жил на Сечи, женился на дочери лубенского полковника и стал богат? Тут целая история. На той неделе казнили жида Гершка: он им много делал зла, я расскажу тебе после. А как нашего сотника выбрали в Лубны полковником на место покойного Ивана, вот мы и сделали Чайковского своим сотником. А тут подъехали гости, старые приятели Чайковского из Сечи, и заварили кашу. Веришь, братку, третий день жонки обедать не варят: все смотрят на чудеса; хорошо, что хоть у сотника на дворе всего вдоволь, ешь, пей и танцуй, коли вздумаешь. Не хочешь ли перекусить? Пойдем.

— Кто отказывается от хлеба-соли.

— Славный завтрак! — говорил прилучанин своему приятелю, убирая за обе щеки жареную баранину.

— Наш сотник богат, и еще недавно купил себе землю в Домантове над Днепром, знаешь — то самое место, где он пристал к запо-

рожцам

— Купил?

— Купил. Эх, жаль, что теперь не лето! Оно хоть и не холодно, вторые Параски (14 октября), да все уже осень; паны сидят в комнатах: знаешь, нежные — а то бы ты увидел столько панства, что если б каждый снился в ночь по разу, то руки устали бы от крестов... Здесь и лубенский полковник, и сотники, и есаулы, и хорунжие, и всякое панство..

Тут распахнулись двери из панского дома; выскочил Никита, а за ним толпа запорожцев и музыкантов, и все с пенъем, с пляскою пустились к погребу Чайковского. В минуту были выкочены несколько десятков бочек и бочонков с наливками и медами и внесены в дом.

— Комедию замышляют запорожцы, — говорили одни.

— Посмотрим, что из этого выйдет, — говорили другие между народом, стоявшим толпою на широком дворе.

Запорожцы внесли бочки в комнаты, затворили двери; немного погодя послышался стук молотков, потом со звоном вылетели ок-

на и вслед за ними посыпались в народ обручи, донники и клепки разбитых бочек, а вслед за клепками явилось в окне лицо Никиты и громко сказало народу:

— Люди добрые, хотите знать, от чего говорится «Пьяному море по колено»?

— Хотим! — отвечал народ. — Как не хотеть!

— Так посмотрите сюда, в окно.

Кто не глянет в окно — только всплеснет руками Запорожцы заколотили двери в светлице, выпустили из бочек настойку и ходят по колени в дорогих напитках и, наклонясь, пьют их, как лошади воду.

«Но всякому веселью бывает конец», — сказал, должно полагать, какой-нибудь большой философ: так и пирам Чайковского пришел конец. Поживя неделю, кошевой собрался ехать.

Было чистое, свежее осеннее утро, когда запорожцы, выпив по чарке на дорогу и по другой на конях, выехали за город. Алексей с женою и старшинами провожал их.

С полверсты от города, в степи, стоял курган; на кургане горел большой огонь и толпи-

лись люди.

— Кошевой батьку! — сказал Чайковский с комическою важностию, подъезжая к Зборовскому. — На кургане видны люди, кучею стоят, должно быть, татары или турки; позволь языка достать.

— С богом, братику! — отвечал кошевой.

— Зимовник, батьку, — отвечал Чайковский, возвращаясь от кургана, — зимовник старого Касьяна, должно быть, тут и Сечь недалеко. Просит хозяин до хаты.

— Добре, ваши головы, — кричал кошевой, подъезжая к кургану.

— Ваши головы, ваши головы! — отвечал Касьян и казаки, принимая гостей.

Здесь устроена была на скорую руку походная кухня. Сели завтракать, начали пить здоровье и кошевого, и Чайковского, и старшин, и даже всех казаков поочередно; опять явилась музыка, пошли танцы — только перед вечером выехали в поход запорожцы. Яр-ко горели их шитые красные жупаны, сливаясь с горизонтом в лучах заходящего солнца Чайковский с женою грустно следил за ними... И вот уже красною полоскою мелькали

они на далекой степи; вдруг что-то отделилось от них, росло, росло, близилось — и у кургана явился Никита.

— Что тебе надо, Никита? Здравствуй, Никита! — сказал Чайковский.

— Я думала, что и до смерти не увижу тебя, Никита! — радостно закричала жена Чайковского.

— Дело есть.

— Какое дело?

— Пойдите сюда, важное дело, тайное дело. Кроме вас, никому сказать нельзя.

— Ну, что? — спросил Чайковский, отойдя с женою в сторону от кургана шагов на сто.

— Ничего. Я обманул кошевого, сказал, что забыл тут свою люльку (трубку), да и вернулся.

— Зачем?

— Вот видите... Хорошо, что вы отошли от кургана, нас никто не услышит — там Касьян, старый характерник, там прочие казаки... еще смеяться стали бы надо мною... Видите... Жалко мне кидать вас, добрые люди, ей-богу, жалко. Как выехали в степь, будто камень проглотил я, тяжело стало, в глазах туман

разостлался; еще уезжая от вас, видел на носу черта, а то и черта не видно стало, — а тут подо мною конь споткнулся — худая примета, скоро умереть доведется, подумал я, обманул кошевого и вернулся. Теперь прощайте! Прощайте, братцы! Обнимите меня... Видите, я плачу, некому обнимать меня, ей-богу, некому! Прощайте! Вот так! Спасибо!

Никита махнул рукою, склонился на седло и ускакал из виду.

Эпилог

В 182* году далеко за Кавказом, у персидской границы, летнее полуденное солнце жарко накаляло песчаную равнину. На равнине стоял белый городок из солдатских палаток, там кочевал ...ий пехотный полк. Ни тучи на небе, ни ветра на равнине, а солнце так и обдает жаром желтые окрестности В лагере тишина, странная тишина, кое-где ходит, как маятник, часовой, без этого можно бы подумать, что вымер народ в лагере и нет живой души. В стороне стояла одинокая палатка — не начальничья палатка, не почетная палатка простая, обыкновенная, у входа ее си-

дел молодой человек, в пестрых шароварах, в солдатской фуражке и тихо плакал, склоняясь головою почти до колен.

— Васька! А Васька! — слышался слабый голос из палатки

— Сейчас, барин, — отвечал, вскочив на ноги, молодой человек и торопливо утер слезы.

— Васька! Я, должно быть, выздоровею, право, выздоровею, — говорил вошедшему человеку молодой офицер.

— Выздоровеете, барин; я это давно говорил.

— Нет, Васька, чума не такая болезнь, никто еще от нее не выздоровел... А мне представилось сейчас, что я дома, в Пирятине, на небо нашли тучи, идет дождик такой прохладный! Вода с кровельного желоба льется на камень Помнишь камень, что лежит перед крыльцом?

— Помню, барин.

— Льется вода, свежая вода, а брызги так и летят кругом, и шепчет кто-то мне: «Напейся этой воды: ты выздоровеешь: чума боится этой воды». Дай мне хоть каплю, Васька!

Васька принес воды.

— Скверная, теплая вода! — сказал офицер — Дай мне той воды... Верно, мне придется умереть. Смотри, Васька, после моей смерти, когда придешь в Пирятин, напейся воды из желоба... Пойди принеси мне свежей воды.

Васька принес другой воды, но уже не застал своего барина: умер последний потомок Алексея Чайковского.

В газетах было напечатано: «Исключается из списков умерший прапорщик ...го пехотного полка, Созонт Чайковский».

Еще в детстве я посещал пирятинскую замковую церковь, и теперь очень хорошо помню ее странную, древнюю живопись. Под иконами везде были нарисованы воинские клейноды: булавы, бунчуки, перначи, стрелы и копья; дубовые стены были изрезаны разными надписями; каждая икона имела свою примечательную историю. Тогда был еще цел дом Чайковских, странной архитектуры, с высокою крышею, с узкими окнами; перед крыльцом лежал большой жерновой камень. Верно, давно лежал он там: вода, падавшая с крыши, вымыла на нем глубокие ямы. За до-

мом рос большой тенистый сад (теперь на этом месте, кажется, широкая пустая улица); перед домом, словно луг, расстился зеленый двор с резными дубовыми воротами, выходящими на улицу.

В последнюю турецкую кампанию этот запустелый дом и двор снова было оживились: в доме громко говорили, еще громче смеялись. Казаки в синих кафтанах, в шапках с красными верхами ходили по двору, у коновязи бесменно стояло несколько десятков лошадей: здесь была квартира комиссара (капитана исправника).

В мае 1841 года я подъезжал к Пирятину. Мой ямщик был удивительный человек: дай ему побольше денег и пусти в Петербург — он бы сделался величайшим онагром. С бритой бородой, с длинными запорожскими усами, он был острижен вплотную, по-солдатски; в левом ухе у него висела огромная медная серьга, признак франтовства многих удалых ефрейторов: при широчайших казацких шароварах он был одет в русский армяк, носил московскую красную рубаху с косым воротником и на голове имел безобразнейшую в мире

круглую шляпу с высокою, узкою тульею, перевязанною пополам покромкою от голубого ситца; на покромке можно было прочитать слова Ивана Лаптева вмоскве за покромкой натыкано множество павлиньих перьев, словом, шляпа, какую носят в Малороссии русские купцы, торгующие скотом. Добрые кони, не во гнев русским ямщикам, быстро мчались, но ямщик беспрестанно поводил над ними кнутом, приговаривая: «Ой вы, соколики! Матери вашей лыхо! Эй, дети! С горки на горку! (выговаривая s'hor'ku на hor'kou) даст барин на водку!» Потом запел песню.

*Ой на горе на зеленой дорожка ле-
жала,
Туда наша сударыня некрут (ре-
крут) выряжала.*

Влево от дороги, за Удаем, ходили тучи и по временам гремел гром. Вдруг, будто выстрел, раздался удар в стороне к Пирятину и поднялся столбом густой дым.

Ямщик привстал на козлах, перекрестясь, сказал: «Ей же богу, замковская церковь горит!» И ударил по лошадям. Мы были верстах в шести от города, скакали шибко; но когда

приехали, застали одни только развалины церкви. «Гром разбил нашу церковь!» — печально говорил народ. Несколько старушек неутешно плакали над дымящимися развалинами церкви, в которой крестились и венчались их предки, сами они крещены, венчаны и молились до глубокой старости. Между тем тучи разошлись, легкий дождик sprysнул город, прибил пыль, оживил сады, и солнце весело глядело на землю.

Переменив лошадей, я поехал далее не почтовым трактом. Под горою, при самом выезде, влево, зеленел огромный пустырь; на нем порос высокий бурьян и крапива и желтели кучи развалин — едва я узнал в этом пустыре бывший дом и двор Чайковского! Слепой кобзарь, сидя на дороге у самого пустыря, пел заунывным голосом:

*На Чорному морі, на білому
камні,
Ясенький сокіл жалібно кви-
лить, проквіляє:
Смутно себе має, на Чорнеє море
поглядає,
Що на Чорному морі недобре ся*

починає.

Кобзарь не подозревал, как была кстати, к месту, его древняя легенда, но пел ее с чувством; голос его дрожал, струны дрожали, замирали в диссонансах, которые мало-помалу переходили в стройный аккорд, жалобный, вопиющий, страдальческий А люди шли мимо, не обращая внимания ни на старика, ни на его песню.

— КІНЕЦЬ —

1843

Примечания

И до сих пор в Малороссии считается величайшим бесчестием отрезать девушке косу. Ни за какую плату девушка не согласится добровольно лишиться этого украшения. «Коса вырастет, а позору не вернешь», — обыкновенно отвечает она на предложения парикмахера или другого афериста, покупающего волосы. — авт.

[^^^]

2

(Дорогой возлюбленный, Я жила, чтобы те-
бя любить, и я умираю, тебя лю-
бя..... Я всех их по-
терял мне осталось только умереть Жильбер
(франц.)

[^^^]

3

Муравьи, прячьте личинки — татары идут

[^^^]